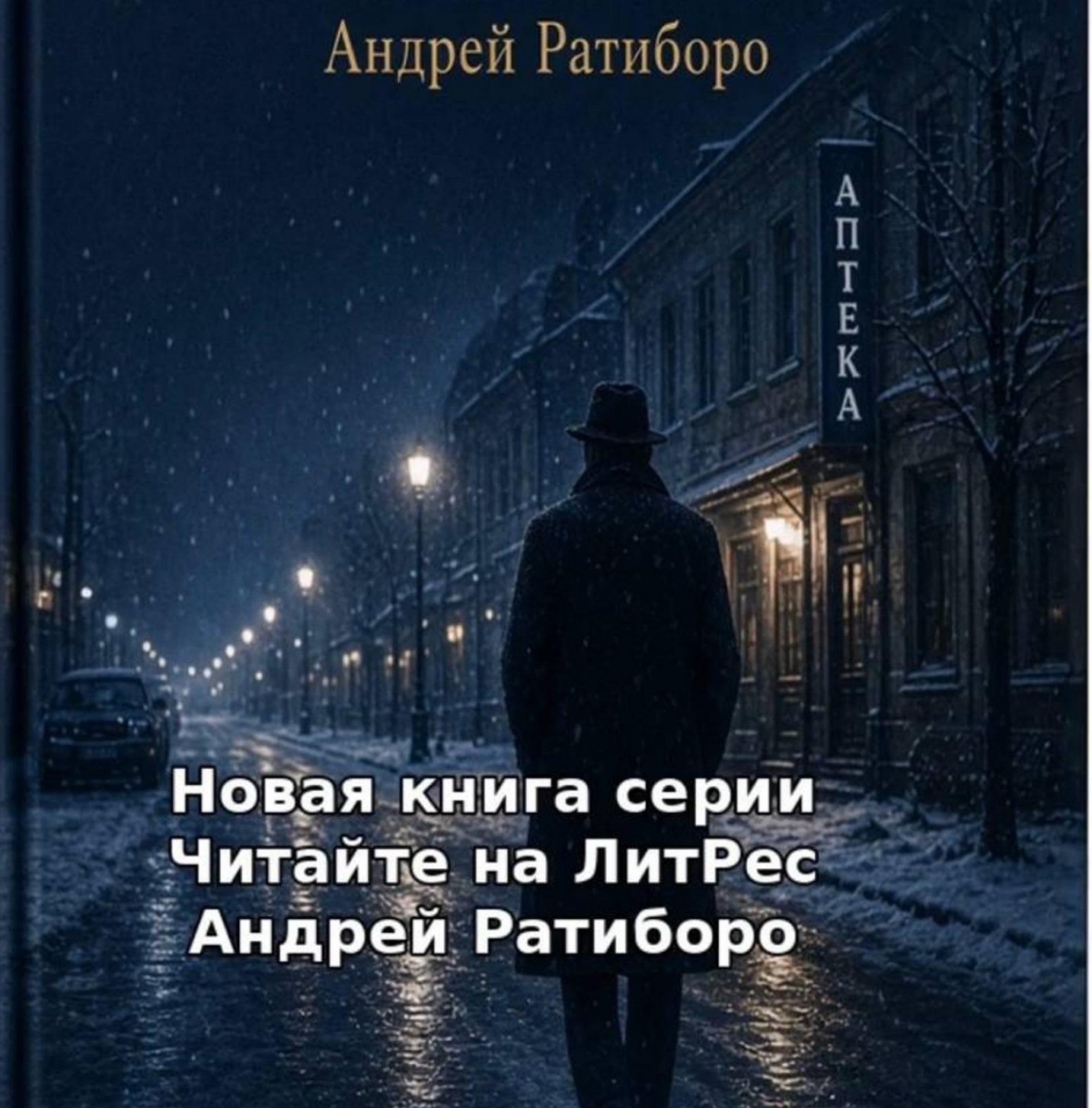
Записки бузулукского врача.

Книга вторая

Андрей Ратиборо



Новая книга серии
Читайте на ЛитРес
Андрей Ратиборо

Записки бузулукского врача. Книга вторая Андрей Ратибо

Андрей Ратиборо

Записки бузулукского врача Книга 2

«Автор»
2026

Ратиборо А.

Записки бузулукского врача Книга 2 / А. Ратиборо — «Автор», 2026

Бузулук, 1985–1987 годы. Водка и сахар по талонам, очереди у винного отдела в два часа дня, и в газетах уже звучит слово «перестройка», которое пока ничего не меняет. Военный хирург Алексей Дронов, раненный под Кабулом, и его сосед по улице Чапаева, бывший учитель химии Вениамин Шерстнёв, снова берутся за дела, от которых отмахнулась бы любая милиция.В посылках из Средней Азии вместо кураги оказываются кирпичи. В больничных ампулах с обезболивающим налита вода. Из хлеба с хлебозавода выпадает записка: «Помогите мне, пожалуйста». Со спиртзавода исчезает спирт, которого по бумагам никогда не было, а вдове возвращают из мастерской золотые часы мужа, в гравировке которых больше нет ошибки.Ни погонь, ни перестрелок. Капля йода, школьные весы, внимательный взгляд. И за каждой разгадкой люди своего времени, у каждого из которых своя правда.33 рассказа о провинции, где химия оказывается точнее любого следователя. Последнее дело самое личное: письмо от брата, погибшего под Ельней.

© Ратиборо А., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Рассказ 1. Дед Мороз с красным мешком 6
I. Старый Новый год 6
II. Ключ на гвозде 7
III. Савва Никанорович 9
IV. Двадцать два адреса 11
V. Лена 13
VI. Ночь с двенадцатого на тринадцатое 15
VII. Гарантийный талон 17
VIII. Бокс тридцать один 19
IX. Красный мешок 21
X. Чему смеётесь? 23
Рассказ 2. Сторож зимнего лагеря 29
I. Авоська 29
II. Два незакрытых дела 32
III. Третий корпус 35
IV. Под половицей 38
V. Директор лагеря 41
VI. Воскресенье 44
VII. Ночь в палате № 4 47
VIII. Мешочный узел 50
IX. Заявление 52
X. Отбой 54
Рассказ 3. Приданое 56
I. Два дня свадьбы 56
II. Вата между рамами 59
III. Жених из Елшанки 62
IV. Грузовик без фар 64
V. Семь коров 66
VI. Третий день свадьбы 68
Рассказ 4. Чёрная «Волга» у кладбищенской церкви 70
I. Записка в печи 70
II. Самара, шестьдесят второй 72
III. Всенощная 74
IV. Ночь в запертом храме 76
V. Долг 78
Рассказ 5. Последний рейс на Палимовку 80
I. Лампочка, которая не должна гореть 80
II. Девять пассажиров и одна сумка 82
III. Сиплый 84
IV. Отопитель 86
V. Два брата и одна сумка 88
VI. Крайняя справа 90
Конец ознакомительного фрагмента. 91

Андрей Ратиборо
Записки бузулукского врача Книга 2

Андрей Ратиборо
Записки бузулукского врача
Книга вторая
Детективные рассказы
© Андрей Ратиборо, 2026

Рассказ 1. Дед Мороз с красным мешком

I. Старый Новый год

Праздники кончились. Во дворах ещё стояли ёлки, обглоданные ветром, с обрывками серебряного дождя на ветках, а город понемногу возвращался к будням. После декабрьской истории с конвертом Лыткин заходил к нам запросто — то за советом, то на стакан чаю у печки. Но в понедельник, четырнадцатого января, он поднялся к нам в девятом часу утра в шинели и с портфелем, и по лицу было видно, что пришёл он по службе.

— Три квартиры за одну ночь, — сказал он, садясь. — В 3-м микрорайоне, в двух соседних домах. С субботы на воскресенье. Хозяева уезжали к родне встречать Старый Новый год, вернулись вчера вечером, а дома шаром покати. Шубы, золото, магнитофон «Весна», деньги из комода. Замки целы. Открывали ключом.

— Своим?

— В том-то и дело. — Лыткин щёлкнул замком портфеля. — Мои ребята с утра опросили всех троих. Ключей никто не терял и никому не давал. Соседи ничего не видели: мороз был под тридцать, люди сидели по домам. Общее нашлось только одно.

Он положил на стол машинописный листок: «Профком завода тяжёлого машиностроения. Заявки на поздравление детей Дедом Морозом и Снегурочкой на дому. 31 декабря 1984 г.». Двадцать два адреса, все в 3-м микрорайоне. Три были подчёркнуты красным карандашом.

— Все три квартиры из этого списка. Тридцать первого к ним приходил Дед Мороз. А у нас как рассуждают: кто под Новый год в доме побывал, тот и видел, где что лежит.

— Кто был Дедом Морозом? — спросил я.

Лыткин помрачнел.

— Белецкий. Савва Никанорович. Старый артист, ведёт драмкружок в ДК «Железнодорожник». Профком его каждый год нанимает. Семьдесят лет, весь город его знает, полгорода у него в кружке играло. Не верю я, что это он. Но три квартиры из его списка за одну ночь — это не совпадение. В горотделе уже говорят: проверить Белецкого.

Шерстнёв слушал с закрытыми глазами, откинувшись в кресле.

— Один Дед Мороз за вечер двадцать два адреса не обойдёт. С ним кто-то ездил.

— Внучка, Лена, Снегурочкой. Учится в медучилище. И её жених, Эдуард Карпенко, возил их по адресам на своём «Москвиче» и таскал мешок с подарками. Слесарь-инструментальщик с того же завода.

— Инструментальщик, — повторил Шерстнёв и открыл глаза. — Капитан, можно нам с доктором заглянуть в одну из этих квартир? Лучше в ту, где хозяйка поразговорчивее.

II. Ключ на гвозде

Мальцевы жили на четвёртом этаже серой панельной пятиэтажки, одной из тех, что два года назад выросли на месте огородов. В подъезде пахло жареной картошкой и хвоей, на площадках стояли выставленные из квартир ёлки. Хозяйка, Валентина Петровна, полная, говорливая женщина в байковом халате, сначала испугалась милицейского удостоверения, которым Лыткин махнул у неё перед носом, а потом обрадовалась слушателям.

— Всё унесли! Шубу мою мутоновую, Толины часы «Полёт», серьги мамины. Даже банку с мелочью, что ребята на велосипед копили. А дверь как была заперта, так и стоит. Толя говорит — сквозь стену прошли.

Прихожая была крошечной, в полтора шага. На стене у двери висела самодельная ключница — лакированная дощечка с выжженным оленем и пятью крючками. На крючках болтались ключи от почтового ящика, от сарая, от гаража и запасная связка от входной двери, на красной тесёмке.

— Расскажите про тридцать первое, — попросил Шерстнёв. — По минутам, если можно.

Валентина Петровна только того и ждала. Дед Мороз пришёл в седьмом часу, со Снегурочкой и с шофёром. Подарки она, как полагается, ещё днём отдала шофёру у подъезда, чтобы дети не видели, — их положили в красный мешок. Дед Мороз — настоящий, с посохом, голос как из радиоприёмника — увёл ребят в большую комнату к ёлке. Стихи, хоровод, «В лесу родилась ёлочка». Снегурочка играла на губной гармошке.

— А шофёр?

— В прихожей стоял. Сказал: валенки в снегу, наслежу вам. Скромный такой парень, вежливый. Мешок держал, подарки подавал.

— Здесь, у вешалки? — Шерстнёв кивнул на ключницу.

— Здесь. Где ж ещё — тут повернуться негде.

— А Дед Мороз не спрашивал у детей чего-нибудь особенного?

Хозяйка рассмеялась.

— Спрашивал, как всегда! Он у всех спрашивает: а где, детки, будете Старый Новый год встречать? Это у Саввы Никаноровича шутка такая, он и в прошлом году спрашивал. Чтоб дети знали, что есть ещё и Старый Новый год. Мой Димка как закричит: «У бабушки в Державине! На машине поедем!» Все смеялись.

Мы с Шерстнёвым переглянулись. Он снял с крючка запасную связку и поднёс ключ от входной двери к окну. Долго смотрел в лупу, медленно поворачивая бородку.

— Доктор, взгляните.

В глубине прорезей бородки, там, где металл был темнее, застряли крошечные катышки чего-то мягкого, серо-зелёного, болотного цвета.

— Пластилин, — сказал Шерстнёв. — Дима, у тебя есть пластилин?

Мальчик лет девяти, всё это время подслушивавший из-за двери, выскочил в прихожую и через минуту принёс картонную коробку «Луч». В ней лежали аккуратные бруски, красный, синий, жёлтый, почти не тронутые.

— Не твой, — сказал Шерстнёв, возвращая коробку. — Твой ещё новенький, каждый цвет отдельно. А этот мяли так долго, что все цвета слились в один. Такой пластилин в магазине не купишь. Его годами носят в кармане люди, которым он нужен для работы. Модельщики. Скульпторы. Инструментальщики.

Валентина Петровна смотрела на него, ничего не понимая.

— Ключ вдавливают в брусок пластилина с одной стороны, потом с другой, — объяснил Шерстнёв. — Минута, не больше. Пока Дед Мороз водит хоровод, а дети читают стихи. Ключ возвращают на гвоздь, слепок кладут в карман. А дальше хороший слесарь вечером, у себя

в мастерской, выпилит по нему копию из заготовки. Пропажи никто не заметит, потому что ничего не пропало. Остаются только крошки в прорезях, а кто станет разглядывать собственный ключ в лупу?

— А Старый Новый год? — тихо спросил я.

— А Старый Новый год — это расписание. Дед Мороз спрашивает у детей, где они будут его встречать. Дети честно отвечают Деду Морозу. А в прихожей стоит человек со слепками в кармане и слушает, кто из хозяев в ночь на тринадцатое уедет из дома.

III. Савва Никанорович

ДК «Железнодорожник» стоял неподалёку от вокзала: тяжёлое жёлтое здание с колоннами, построенное в пятидесятые годы с той основательностью, с какой тогда строили всё, от вокзалов до бань. В вестибюле пахло мастикой, пылью бархатных портьер и почему-то апельсинами — видно, после детских ёлок их кожуру ещё не всю вымели из углов. На доске объявлений висела афиша, нарисованная от руки гуашью: «Народный драматический коллектив готовит к постановке комедию Н. В. Гоголя „Ревизор“. Руководитель — С. Н. Белецкий».

Репетировали в комнате под сценой, низкой, с крашенными масляной краской стенами и рядом стульев вдоль них. Когда мы вошли, в центре комнаты стоял худой долговязый подросток в свитере, с очень красными ушами, а перед ним, опираясь на трость с потемневшим серебряным набалдашником, — высокий старик с гривой белых волос, в старом бархатном пиджаке.

— Нет, Серёжа, нет, — говорил старик густым, поставленным голосом, от которого, казалось, дрожали стёкла в окошках под потолком. — Городничий не кричит. Городничий в эту минуту понимает, что его, старого лиса, обвёл вокруг пальца мальчишка, сосулька, тряпка. Ему не злость нужна. Ему стыдно. А стыд у русского человека выходит наружу злостью, но начинается он вот здесь. — Он постучал себя по груди набалдашником. — Ещё раз. С «Чему смеётесь?».

Подросток набрал воздуху и выпалил реплику так, что Белецкий поморщился, будто от зубной боли. Потом он заметил нас в дверях, и лицо его сразу переменилось — сделалось замкнутым и усталым.

— Перерыв, — сказал он. — Десять минут. Курильщики — на улицу, а не в уборную, я всё равно узнаю.

Драмкружковцы, человек пятнадцать, от школьников до пожилой кассирши с вокзала, шумно потянулись к выходу. Белецкий подождал, пока за последним закроется дверь, и тяжело опустился на стул.

— Вы из милиции, — сказал он. — Можете не представляться. Я сорок лет на сцене, я милицию узнаю по походке. Хотя нет. — Он вгляделся в Шерстнёва. — Вас я знаю. Вы тот самый химик, про которого в городе рассказывают анекдоты. Про пчёл и про прорубь. Что ж, садитесь. Меня уже спрашивали сегодня утром. Молодой лейтенант, очень вежливый. Интересовался, где я был в ночь с двенадцатого на тринадцатое. Я ответил, что дома, учил текст. Свидетелей нет: я вдовец, а внучка ночевала у подруги. Он записал. Я понимаю, что это значит.

— Я не из милиции, Савва Никанорович, — сказал Шерстнёв. — И я не думаю, что вы обворовали эти квартиры. Мне нужно, чтобы вы рассказали про тридцать первое декабря. Подробно. Как рассказали бы актёру, которому завтра играть эту роль вместо вас.

Старик посмотрел на него долгим взглядом, и что-то в его лице оттаяло.

— Как актёру… Ну что ж. Слушайте.

Дедом Морозом он был уже двадцать второй год. Начинал ещё в Оренбурге, в драмтеатре, где прослужил почти тридцать лет. В Бузулук переехал в шестьдесят пятом, когда сына направили сюда на нефтепромысел. Сын с невесткой теперь работали вахтой на Севере, в Сургуте, а внучку Лену он, по сути, вырастил сам. Профком завода нанимал его каждый год: двадцать — двадцать пять квартир за вечер тридцать первого, по пять рублей с семьи, и Белецкий, по его словам, ждал этого вечера весь год.

— Вы не поймёте, — сказал он, и голос его дрогнул. — Я играл Лира, играл Фамусова, Протасова в «Детях солнца». А лучший мой зритель — это шестилетний мальчишка, который прячется за маму и одним глазом смотрит, настоящий ли я. Ради этого глаза стоит жить.

В этот раз они выехали в четыре часа дня. Сначала дома на окраине 3-го микрорайона, потом ближе к центру. В каждой квартире минут пятнадцать, не больше: стихи, хоровод, подарки из мешка. Мешок — красный, бархатный, с вышитыми звёздами — сшила ещё покойная жена. Лена играла Снегурочку и аккомпанировала на губной гармошке. Возил их Эдуард, Ленин жених, на своём «Москвиче».

— Он и мешок таскал, — сказал Белецкий. — Я ведь уже не тот, по пятым этажам с мешком не набегаешься. Эдик подарки принимал у родителей внизу, у подъезда, укладывал. Золотой парень. Руки золотые: мне в прошлом месяце замок на сундуке с костюмами починил, а то всё разваливалось.

— Сундук здесь?

— Там. — Белецкий кивнул на дверь в конце комнаты. — В костюмерной. Там и Дед Мороз мой лежит до следующего декабря: шуба, борода, посох, мешок.

— А в квартирах Эдуард где был, пока вы с детьми у ёлки?

— В прихожей, где ж ему. Стеснительный. Говорит: дед, я не артист, я лучше тут постою. Да и валенки в снегу, хозяйкам полы пачкать.

— И вы у всех детей спрашивали про Старый Новый год?

Старик вдруг поднял голову. Он молчал очень долго, и я видел, как он сам, шаг за шагом, проходит тот же путь, который прошли мы утром в квартире Мальцевых.

— Спрашивал, — сказал он наконец почти шёпотом. — Двадцать лет спрашиваю. Боже мой.

В этот момент дверь отворилась, и в комнату вошли двое. Девушка лет девятнадцати, светловолосая, в вязаной шапочке и пальто с кроличьим воротником, румяная с мороза, и широкоплечий молодой человек лет двадцати шести в ондатровой шапке и коротком полушубке. У него было открытое, приятное, чуть простоватое лицо и спокойные серые глаза.

— Деда, мы за тобой, — сказала девушка. — Эдик на машине, подвезём. Ой, у тебя гости…

— Это ко мне, Леночка, — Белецкий с трудом улыбнулся. — По поводу краж. Товарищи интересуются.

Лицо у Лены сразу стало испуганным. Эдуард шагнул вперёд и протянул руку — сначала Шерстнёву, потом мне.

— Карпенко. Вы, значит, по поводу этих квартир? Ужас какой. Нас ведь уже спрашивали, меня на заводе с утра вызывали. Неужели думают на Савву Никаноровича? Он же мухи не обидит.

Рукопожатие у него было крепкое, сухое и короткое. Шерстнёв ответил что-то вежливое, задал два-три пустых вопроса о маршруте тридцать первого — Эдик отвечал толково и охотно, — и мы откланялись.

На улице стоял такой мороз, что дыхание застывало инеем на воротниках. Шерстнёв шёл молча, глубоко засунув руки в карманы пальто. Только у моста он заговорил.

— Вы заметили его руки, доктор?

— Крепкие. Рабочие.

— На большом пальце правой руки ноготь сплющен и сточен с краю. Так бывает у тех, кто годами ведёт напильник, упираясь в него пальцем. В складках кожи — тёмная металлическая пыль, которая не отмывается никаким мылом. И ладонь пахнет веретённым маслом. Он инструментальщик, и хороший.

— Значит, это он?

— Значит, он умеет делать ключи. Это ещё не преступление. В нашем городе ключи умеют делать сотни людей. — Шерстнёв посмотрел на тёмную реку подо льдом. — Пластилин в одной прихожей — это пока только пластилин. Мне нужны остальные двадцать адресов, доктор. Все до одного.

IV. Двадцать два адреса

Следующие два вечера мы ходили по подъездам 3-го микрорайона с анкетой заводского профкома «О качестве новогоднего обслуживания семей трудящихся». Анкету придумал Шерстнёв, а Лыткин, поворчав, договорился с председателем профкома, и тот выдал нам стопку бланков с печатью. — Милиции люди рассказывают то, что думают, — объяснил он, — а профкому — то, что видели. К тому же профкому всегда хочется пожаловаться.

Он оказался прав. Нас поили чаем, угощали пирогами с картошкой и наперебой рассказывали всё: что подарки в этом году были беднее, чем в прошлом, что Дед Мороз опоздал на сорок минут, что Снегурочка очень славная, а гармошка фальшивит. Шерстнёв аккуратно записывал в анкету жалобы, а уходя, неизменно задерживался в прихожей. Иногда на минуту, иногда на секунду. У него была придумана фраза: «А ключи вы здесь держите? Рискованно, сейчас вон что творится», — и ключ сам оказывался у него в руках.

Учительница Рогова из дома номер пять носила единственный ключ на шнурке на шее и очень удивилась вопросу про запасной. У стариков Седовых запасные ключи лежали в сахарнице на кухне, куда чужой человек не заглянет. У двух семей ключи держали в ящике тумбочки под телефоном, и тумбочки эти стояли в комнатах. Эти ключи были чистыми.

А вот у Ахмеровых, большой татарской семьи с четырьмя детьми, ключница висела на самом виду, напротив двери, и в прорезях запасного ключа шерстнёвская лупа нашла те же серо-зелёные крошки. Хозяйка, Раиса Гафуровна, смеялась, пересказывая, как младший, Ринат, заявил Деду Морозу, что Старый Новый год они встречать не будут, а на День Советской Армии поедут в Оренбург на свадьбу к дяде Ильдару, на поезде, с ночёвкой.

— Всем подъездом смеялись, — сказала она. — Он у нас болтун.

У Гладких, в соседнем доме, нас встретила рычанием огромная серая овчарка по кличке Джульбарс, и хозяину пришлось увести её на кухню. Запасной ключ на гвозде в прихожей был с пластилином. А на Старый Новый год Гладкие уезжали — к тёще в Колтубанку, на два дня.

— А собаку?

— Дома оставили. Соседка кормить заходила. Куда его, такого, в автобус? — Хозяин усмехнулся. — Дед Мороз его тоже оценил. Мы Джульбарса на кухне заперли, так он все пятнадцать минут в дверь бился и ревел. Шофёр их в прихожей аж побелел.

У Ворониных, дедушки с бабушкой, гостил на каникулах внук из Куйбышева, для него Деда Мороза и заказали. Ключ на крючке оказался с пластилином. Старый Новый год Воронины встречали дома, за телевизором. Но бабушка, всплеснув руками, вспомнила, что внук всё равно успел похвастаться Деду Морозу: дедушке в марте дают путёвку в санаторий в Ессентуки, и бабушка поедет с ним.

А на второй вечер, в доме номер девять, я остановился на пороге и некоторое время не мог понять, почему мне так знакома эта прихожая с зеркалом в деревянной раме. Потом вспомнил. В пятницу, одиннадцатого, я приходил сюда на вызов к мальчику с ангиной: температура сорок, гнойные пробки в миндалинах. Я тогда строго сказал матери, что ни о какой поездке в деревню не может быть и речи.

Кравцова тоже меня узнала.

— Доктор! А вы теперь и по профкому? Вовка уже бегает, спасибо вам. А мы ведь собирались к свекрови в Сухоречку, на Старый Новый год. Вовка даже Деду Морозу похвастался. А тут ангина. Так дома и сидели.

Запасной ключ Кравцовых висел на гвозде у зеркала. В его прорезях застряли серо-зелёные крошки.

Я спускался по лестнице с неприятным холодком между лопатками. Выходило, что от четвёртой кражи эту семью спасла стрептококковая ангина и моё врачебное упрямство.

Поздно вечером, когда мы вернулись домой и Клавдия Степановна накормила нас щами, Шерстнёв разложил на столе двадцать две анкеты и долго тасовал их, как пасьянс.

— Двадцать две квартиры, — сказал он. — В двенадцати запасной ключ висит в прихожей, на виду. Из этих двенадцати в семи ключи с пластилином. Остальные пять чистые. Посмотрите, чем семь отличаются от пяти.

Я посмотрел и увидел сам.

— В семи квартирах дети ответили Деду Морозу, что куда-то уедут. А в пяти — что будут дома.

— Именно. Он не тратил время и пластилин на те квартиры, из которых хозяева никуда не денутся. Слушал ответ ребёнка из комнаты и только потом снимал ключ с гвоздя. Аккуратный человек. Из семи семей три уехали двенадцатого — и вернулись в пустые квартиры. Остальных четверых спасли случайности. Кравцовых — ваша ангина. Гладких — Джульбарс. Ахмеровы и Воронины пока просто никуда не уезжали.

Он собрал анкеты в стопку и выровнял края.

— Значит, у кого-то в кармане до сих пор лежат четыре ключа. И он знает даты. Двадцать третьего февраля — Ахмеровы. Март — Воронины. Кравцовы и Гладкие — в любой день, когда они снова соберутся в гости, а люди, доктор, неспособны держать это в секрете от соседей. У нас пять недель. А у него — все время на свете.

Он не успел договорить. Внизу тихо стукнула входная дверь, послышались голоса, и Клавдия Степановна, поднявшись до половины лестницы, сказала шёпотом, как говорят о чём-то неловком:

— Вениамин Аркадьевич, там девушка. Светленькая такая, в вязаной шапочке. Говорит, внучка артиста. И плачет.

V. Лена

Она вошла и остановилась у порога, не снимая пальто, словно ещё не решила, оставаться ли. На ресницах таяли снежинки, нос покраснел с мороза, а глаза — от слёз. В ДК, рядом с женихом, она казалась старше. Теперь передо мной стояла девчонка, которую хотелось усадить к печке и напоить горячим чаем, что Клавдия Степановна и сделала, не спрашивая ничьего разрешения.

— Я не должна была приходить, — сказала она, грея пальцы о кружку. — Эдик думает, что я у Веры, у подруги. А дедушка в понедельник после вашего ухода сидел в кружке до десяти часов и не мог встать со стула. Я его таким никогда не видела. Потом он сказал мне про Старый Новый год. Что вы спрашивали. И я две ночи не сплю.

Шерстнёв сидел напротив и молчал. Он умел молчать так, что людям хотелось заполнить тишину.

— Вы думаете на Эдика, — сказала Лена, и это был не вопрос. — Я видела, как вы смотрели на его руки. Я же в медучилище учусь, нас тоже учат смотреть на руки.

— Я пока ни на кого не думаю, Лена. Я собираю. Расскажите мне про него. Не то, что нужно для милиции. Просто про него.

Она познакомилась с Эдиком год назад, на танцах в том же ДК. Он выделялся среди заводских парней: не пил, не матерился, не хвастался. Работал слесарем-инструментальщиком шестого разряда, висел на Доске почёта цеха, был комсоргом. За ней ухаживал основательно, с цветами и кино, и дедушке понравился сразу: наточил ему ножи, починил часы, заменил волосок в старой настольной лампе. Свадьбу назначили на май.

— Только он не хотел жить у дедушки. Говорил: я в примаки не пойду. Хотел кооперативную квартиру, в новом доме в 4-м микрорайоне, вступить в кооператив до весны. А там первый взнос три тысячи с чем-то. У него столько не было. Машину он в прошлом году купил, в долги влез. Осенью он стал какой-то… не знаю. Как сжатая пружина. Всё время считал. А после Нового года сказал, что деньги на пай будут к февралю. Что он нашёл халтуру.

— Какую?

— Не сказал. Сказал — мужские дела, тебе не надо.

Она помолчала, собираясь с духом.

— Двенадцатого, в субботу, он сказал, что выходит в ночную, в цеху срочный заказ. И сам предложил, чтобы я переночевала у Веры: у неё накануне был день рождения, посидите, говорит, девчонками, а утром я за тобой заеду. Я ещё обрадовалась, какой он заботливый. Пошла. А у Веры отец диспетчером на заводе работает, у них телефон. Я в первом часу ночи дура дурой позвонила через коммутатор в инструментальный цех. Хотела просто… спокойной ночи сказать. А мастер смены мне ответил, что в ночную у них два человека и Карпенко среди них нет. И никакого срочного заказа нет.

Слёзы снова потекли у неё по щекам, и она сердито вытерла их тыльной стороной ладони.

— Я подумала — другая. Правда, я думала, что у него другая. Всю ночь проревела у Веры на раскладушке. А утром тринадцатого он заехал за мной как ни в чём не бывало. Усталый, серый, но весёлый. Сказал, что смена была тяжёлая. И я… Я ничего не сказала. Испугалась, что он скажет правду про другую.

— Он заехал за вами на машине?

— Да. И в машине… — Она нахмурилась, вспоминая. — В машине пахло нафталином. Сильно, как в старом шкафу. Я ещё спросила, а он засмеялся: мать, говорит, старое пальто просила отвезти в ателье.

Я посмотрел на Шерстнёва. Он не шевельнулся, но я знал, о чём он думает. Мутоновую шубу Валентины Петровны Мальцевой, как и все зимние вещи в те годы, хранили в шкафу

пересыпанной нафталином от моли. Хозяйка сама нам это рассказала, сокрушаясь, что так её и не проветрила к празднику.

— Лена, где Эдик держит машину? — мягко спросил Шерстнёв.

— В гараже. За 4-м микрорайоном, у котельной, там кооператив. Он там все вечера сидит, у него там верстак, тиски, станочек какой-то. Сам собрал. Он всё может сам. — Она помолчала. — И ещё. Дедушка вам, наверное, сказал про сундук. Когда Эдик чинил замок, он на неделю забрал ключ от костюмерной, чтобы приходить, когда дедушки нет. А потом вернул. И после праздника, второго или третьего, он сам вызвался отнести костюм Деда Мороза в ДК и сложить в сундук. Дедушка ещё радовался, что…

Она осеклась, увидев лицо Шерстнёва.

— Что? Я что-то не то сказала?

— Вы сказали именно то, что нужно, — ответил он. — Лена, я должен попросить вас о трудном. Несколько дней ведите себя с Эдуардом так, будто ничего не случилось. Не спрашивайте про ночь, не говорите про нас. Это не ради милиции. Ради вашего дедушки. Пока всё не выяснится, его имя не должно трепаться по городу.

Лена долго смотрела на него. Потом спросила очень тихо:

— Он плохой человек?

Шерстнёв ответил не сразу.

— Я не знаю, Лена. Я знаю только, что он стоял в чужих прихожих и слушал, что дети отвечают вашему деду. Остальное предстоит выяснить.

Провожать её до автобусной остановки пошёл я. Мы шли по скрипучему снегу под жёлтыми фонарями улицы Ленина, и всю дорогу она молчала. Уже на подножке автобуса она обернулась:

— Алексей Николаевич, а если это он — это ведь значит, что он и меня… что он с самого начала ради прихожих?

Двери с шипением сдвинулись, и ответить я не успел. Да и не знал что.

VI. Ночь с двенадцатого на тринадцатое

Котельная НГДУ не спала никогда. В седьмом часу утра, в синих январских сумерках, она гудела за пустырём так же ровно, как в августе, и над её кирпичной трубой стоял толстый белый столб пара. Гаражный кооператив за забором тонул в сугробах. Между рядами боксов были протоптаны узкие тропинки и пробиты колеи — там, где хозяева ещё решались выезжать в такие морозы.

Гриша Сомов досиживал ночную смену. Увидев нас в дверях кочегарки, он расплылся в улыбке и вытер о ватник чёрную от мазута ладонь, прежде чем протянуть её. С августа он немного пополнел и перестал сутулиться. Грамота «за бдительность» висела в рамке под стеклом прямо над журналом смен.

— Опять кто-то автомобили таскает? — спросил он полушутя.

— В этот раз, Григорий, наоборот, — сказал Шерстнёв. — В автомобиле кое-что возили. Вы в ночь с субботы на воскресенье дежурили?

— Я, а кто же. На Старый Новый год сменами поменялись, у нас так заведено: семейные отдыхают, а я на Новый год дома был. Мороз в ту ночь, верите, тридцать два показывало. У меня котлы на пределе шли, давление держали.

— И в гаражах в такую ночь кто-нибудь был?

Гриша почесал затылок и вдруг усмехнулся.

— Был один. Я почему помню — он ко мне приходил. В первом часу, в начале второго. С двумя вёдрами. Дай, говорит, горячей воды, машину не завести. У нас тут полкооператива так зимой заводится: воду из радиатора на ночь сливают, чтоб не разорвало, а выезжать — ко мне с вёдрами. Антифриз ведь не достанешь. Я налил, мне не жалко. Он мне пачку «Космоса» оставил.

— Кто он?

— Из тридцать первого бокса, с «Москвичом». Эдик. Фамилию не знаю, а в лицо — конечно. Нормальный парень, с руками. У него там не гараж, а мастерская целая, он мне осенью замок на кителе выточил. — Гриша вдруг насторожился. — А что?

— Куда он поехал?

— В сторону 3-го. Я почему заметил: он фары включил только за пустырём, на дороге. Здесь, мимо нас, так вслепую и прополз. Я ещё подумал — аккумулятор бережёт, в такой мороз садится мигом. А вернулся в пятом часу. Тоже без света. Заехал в бокс и потом долго там возился, свет горел. А утром воду слил — вон там до сих пор наледь.

Мы вышли в кооператив. Тридцать первый бокс стоял в среднем ряду: кирпичный, с аккуратно покрашенными тёмно-зелёными воротами и двумя замками — навесным и врезным, видимо самодельным. Из-под ворот на дорогу тянулся жёлто-серый ледяной язык — слитая из радиатора вода, замёрзшая слоями. Шерстнёв присел и долго смотрел на него, как другие смотрят на годовые кольца на спиле дерева.

— Каждый слой — один слив, — сказал он. — До Нового года он выезжал часто, слои тонкие и частые. Потом перерыв, снегом припорошило. А вот два слоя подряд, чистые, без снега между ними: тринадцатое утром и… — он коснулся верхнего, самого свежего, — вчера. Вчера он куда-то ездил снова. Григорий!

Гриша, топтавшийся позади, кивнул.

— Вчера вечером приезжал. Не на машине, пешком. Посидел часа два в боксе и выехал уже на машине, чего-то в багажник грузил. Воды тоже просил.

— На третий день после того, как мы пожали ему руку в ДК, — сказал я.

— И забрал отсюда часть того, что тут лежало. Наш визит в ДК его насторожил, а анкеты профкома, похоже, дошли до него через заводские разговоры. — Шерстнёв поднялся. — Он

чистит гараж, доктор. Из шкуры лезет, чтобы тут ничего не осталось. А над временем теперь работает он, а не мы.

Из котельной он позвонил Лыткину. Капитан приехал через сорок минут, небритый, сердитый, выслушал всё, стоя у тридцать первого бокса, и пнул ногой ледяной язык.

— Пластилин на ключах. Нафталин в машине по словам невесты. Кочегар, у которого судимость по малолетке, видел машину без фар. И лёд из радиатора. — Он тяжело вздохнул. — Я, доцент, тебе верю. А прокурор не поверит. Ты знаешь, чей он племянник, этот Карпенко? Дядя у него — заместитель директора завода по быту. А сам он комсорг цеха, на Доске почёта. Я приду к прокурору за санкцией на обыск гаража комсорга — и что я ему положу на стол? Крошки пластилина? Он меня выставит. И правильно сделает. И ещё его дяде позвонит, и в гараже к вечеру не останется ничего, кроме «Москвича» и верстака.

— Значит, нужна вещь, — сказал Шерстнёв.

— Какая вещь?

— Одна из украденных. Не в его гараже, а там, где он сам её оставил. Золото он спрячет, шубы придержит до весны, деньги безымянны. Но ему нужны три тысячи на пай к февралю, а шубами пай не платят. Что-то он уже должен был превратить в деньги. И самая удобная для этого вещь, капитан, — та, за которой в нашем городе стоит очередь и которую примут без лишних вопросов.

Лыткин нахмурился, потом медленно поднял брови.

— Магнитофон.

— Магнитофон «Весна», украденный из третьей квартиры. У каждого магнитофона есть заводской номер. А у каждого хозяина, который простоял за ним полгода в очереди, — гарантийный талон, который он хранит пуще паспорта.

VII. Гарантийный талон

Шуваловы, у которых украли магнитофон, жили в соседнем с Мальцевыми доме. Хозяин, Павел Семёнович, токарь с того же завода, молчаливый и суровый, оказался именно таким человеком, какого надеялся встретить Шерстнёв. Из ящика серванта он достал толстую папку с тесёмками. В ней, аккуратно разложенные по листам кальки, хранились паспорта на холодильник «Бирюса», стиральную машину «Вятка», телевизор «Рубин», часы жены и, отдельно, в целлофановом конвертике, талон на кассетный магнитофон «Весна-202».

— Полгода в очереди в завкоме стоял, — сказал он глухо. — Ко дню рождения сыну. В октябре взяли. Парень аж плакал, когда приехали от тёщи и увидели.

На талоне стояли дата продажи, фиолетовая печать магазина «Электрон» и семизначный заводской номер. Шерстнёв переписал его в записную книжку и, не доверяя себе, дал переписать мне.

— А ещё приметы есть? — спросил он.

Шувалов подумал.

— Есть. Сын в первый же день уронил его с тумбочки. На левом углу корпуса, снизу, трещина по пластмассе, сантиметра два. Я её изнутри на дихлорэтановый клей посадил, чтоб дальше не пошла. И крышку батарейного отсека потеряли, я вместо неё из жести вырезал, покрасил.

Шерстнёв спрятал книжку.

— Спасибо, Павел Семёнович. Одевайтесь, пожалуйста. И талон возьмите с собой.

Комиссионный магазин помещался на улице Ленина, в первом этаже старого дома с лепными балконами. В те годы это был мир особый, полузаконный и соблазнительный. Сюда несли дублёнки, привезённые с Севера, финские пальто, чехословацкие люстры, магнитофоны и фотоаппараты, и сюда же ходили, как в музей, те, кому такие вещи были не по карману. За прилавком царила товаровед, полная женщина в пуховом платке на плечах и с таким количеством золота на пальцах, что Лыткин, войдя, крякнул.

Магнитофон стоял на стеклянной полке за её спиной, во втором ряду, между фотоаппаратом «Зенит» и настольной лампой в форме совы. Серебристый, с чёрной панелью. На бирке чернилами была выведена цена, на сорок рублей выше магазинной. Шувалов увидел его сразу и побелел.

— Он, — сказал он шёпотом. — Крышка моя. Жестяная.

Товаровед недоверчиво поставила магнитофон на прилавок. Трещина на левом углу была там, где сказал Шувалов, с жёлтым потёком клея изнутри. Шерстнёв перевернул аппарат и прочитал вслух номер на металлической табличке снизу. Шувалов следил по талону, шевеля губами. Номер совпал до последней цифры.

— Кто сдавал? — спросил Лыткин, кладя на прилавок удостоверение.

Золото на пальцах товароведа сразу стало каким-то тусклым. Она достала из-под прилавка книгу приёма. Правила были строгие: вещь на комиссию принимали только по паспорту, и паспортные данные сдатчика записывали в квитанцию. Палец с огромным перстнем пополз по строчкам.

— Пятнадцатое января. Магнитофон «Весна-202», б/у. Сдатчик… Карпенко Нина Тимофеевна.

Мы с Шерстнёвым переглянулись.

— Женщина? — уточнил Лыткин.

— Женщина пожилая. А с ней сын, помню. Видный такой парень, вежливый. Он всё и говорил, а мать только расписалась. Сказал, что женится, деньги нужны, а свой паспорт сдал в

паспортный стол фотографию вклеивать, двадцать пять исполнилось. У нас многие так. Я же не милиция, товарищ капитан, паспорт есть — я принимаю.

— Он надеялся, что его купят в первый же день, — тихо сказал Шерстнёв, когда мы вышли на улицу. — «Весна» — вещь дефицитная, такие в комиссионке не засиживаются. И он сам же его погубил, задрав цену. Он считал каждую копейку до февраля, доктор, и не захотел уступать сорока рублей. А насчёт номера он просто не подумал. Люди, которые сами ничего не хранят, часто забывают, что другие хранят всё. Даже гарантийные талоны в целлофановых конвертиках.

Шувалов шёл рядом с Лыткиным, не сводя глаз с изъятого по протоколу магнитофона, как смотрят на найденного ребёнка. Вдруг он остановился.

— Карпенко, — сказал он. — Эдик, что ли? Из инструментального? Да он же у нас на Доске почёта висит. Он же мне в прошлом году фрезу заточил… Нет, товарищ капитан. Этого быть не может.

— Мать расписалась, — сказал Лыткин не весело. — И сама, похоже, ничего не знает. Сын попросил — она и дала паспорт. — Он помолчал, и в лице его что-то твёрдо и нехорошо опустилось. — Вот таких я больше всего не люблю, доцент. Которые в чужую квартиру лезут с материным паспортом в кармане.

В тот же вечер он положил на стол прокурору гарантийный талон, квитанцию комиссионного магазина, протокол опознания и сам магнитофон с жестяной крышкой. Прокурор, по словам Лыткина, долго крутил в руках эту крышку, кряхтел, снимал и надевал очки, звонил кому-то и клал трубку, не дождавшись ответа. А потом подписал постановление на обыск.

VIII. Бокс тридцать один

Карпенко взяли в пятницу, в восемь утра, прямо в инструментальном цехе. Лыткин не стал устраивать спектакля: дождался, пока Эдик переоденется в спецовку, подошёл к верстаку вместе с начальником цеха и тихо сказал несколько слов. Рассказывали потом, что Эдик даже не побледнел. Аккуратно вытер руки ветошью, снял передник, сложил его на верстак и пошёл к выходу между станками, не оглядываясь. Весь цех смотрел ему вслед.

В десять мы стояли у тёмно-зелёных ворот тридцать первого бокса. Понятых было двое: Гриша Сомов, прямо со смены, и новый председатель кооператива, сухой старик-бухгалтер, сменивший Боброва. Он переступал с ноги на ногу и с отвращением смотрел на жёлтый ледяной язык под воротами: вторая история за полгода в его кооперативе его явно не радовала. Ключи взяли у Эдика. Он отдал их сам и даже объяснил, каким из них открывается врезной замок: повернуть дважды и приподнять створку.

Внутри было чисто. Это первое, что бросалось в глаза. Не просто чисто, как бывает у аккуратных людей, а чисто так, как бывает, когда кто-то знал, что к нему придут. «Москвич» стоял носом к воротам. Вдоль задней стены тянулся верстак, сделанный на совесть, с двумя тисками и настольным сверлильным станком. Над ним на фанерном щите, каждый на своём гвозде и под каждым обведённый краской силуэт, висели инструменты. В углу стояла железная печка-буржуйка с трубой, выведенной в стену.

Шерстнёв вошёл последним и долго стоял на пороге, ничего не трогая. Потом втянул воздух носом.

— Чувствуете, доктор?

Я чувствовал. Запахи бензина, масла и остывшей железной печки не могли забить его. Сладковатый, приторный, всем знакомый с детства запах бабушкиных сундуков.

— Нафталин.

— Шубы лежали здесь почти неделю. Проветривать гараж в тридцать градусов мороза он не стал — не додумался или побоялся, что заметят открытые ворота.

В салоне «Москвича», под резиновым ковриком у заднего сиденья, Лыткин нашёл круглую тёмную пуговицу, обтянутую искусственной кожей, с клочком нитки. Вечером Валентина Петровна Мальцева, увидев её, расплакалась: пуговица была с её мутоновой шубы, третья сверху, которую она сама перешивала прошлой зимой суровыми нитками.

Шерстнёв тем временем занимался верстаком. Он провёл пальцем по губкам малых тисков и показал мне на свет: на коже засветилась тонкая жёлтая пыль.

— Латунь. Ключевые заготовки делают из латуни. Пыль он смёл, а в насечке губок она остается навсегда.

Из ящика верстака вынули набор надфилей в самодельном футляре из брезента. Надфили были протёрты тряпкой, но в насечке самого тонкого, трёхгранного, тоже поблёскивала жёлтая стружка. Заготовок не было. Ни одной.

— Всё вывез, — мрачно сказал Лыткин. — Ты же сам говорил, доцент: в среду чистил.

— Не всё. — Шерстнёв опустился на корточки перед буржуйкой и открыл дверцу. — То, что нельзя увезти, сжигают. А пластилин, капитан, горит очень плохо. Он плавится.

В золе, среди недогоревших щепок, лежал спекшийся в бесформенный ком серо-зелёный наплыв, величиной с кулак. Сверху он обуглился и потрескался. Шерстнёв подцепил его кочергой, перевернул, и все мы увидели: снизу, там, где ком лежал на холодном железе колосника, сохранился ровный плоский участок. На нём чётко, как в гипсе, отпечаталась бородка ключа, с выступом и тремя зубцами. А рядом, процарапанные кончиком гвоздя, цифры: «9/27».

— Дом девять, квартира двадцать семь, — сказал я и сам не узнал своего голоса. — Кравцовы. Мальчик с ангиной.

Через час в кабинете Лыткина Эдуард Карпенко недолго смотрел на этот серый ком, лежавший на газете посреди стола, рядом с магнитофоном и пуговицей. Потом поднял глаза и вдруг усмехнулся — не зло, а устало, как усмехается мастер, которому показали чужой брак в его собственной работе.

— Колосник холодный был, — сказал он. — Не прогрела печка. Торопился.

Он рассказал всё. Не сразу и не по порядку, а словно раскладывая на верстаке детали разобранного механизма. Идея пришла ему ещё год назад, когда он впервые возил Деда Мороза по адресам и слышал из прихожих детские ответы: «К бабушке! На поезде! У дяди Коли в Тотском!» Тогда он просто усмехнулся. А осенью, когда в жилищном кооперативе ему назвали сумму пая и срок — конец февраля, иначе очередь уйдёт другим, — он вспомнил.

— Вы знаете, сколько лет нужно стоять на заводе в очереди на квартиру холостому слесарю? — спросил он, глядя не на Лыткина, а на Шерстнёва. — Десять. А женатому — восемь. Я шесть лет на заводе. У меня разряд шестой, грамот полный ящик, руки, как все говорят, золотые. А жить я должен был у неё в дедовой двушке, за шторкой, и слушать каждый вечер про короля Лира. Я его уважаю, вы не думайте. Но в примаки я не нанимался. Пятьсот рублей с каждой квартиры — и к маю у нас с Ленкой была бы своя квартира. Я никого не ударил. Ничего не сломал. Даже замки целы.

— У Шуваловых вы забрали магнитофон, который отец полгода ждал для сына, — сказал Шерстнёв. — У Мальцевых — банку с мелочью, которую дети копили на велосипед. А у старого человека, который любил вас как сына, вы забрали двадцать лет его лучшей роли. Это не сломанные замки, Эдуард. Но это тоже считается.

Эдик ничего не ответил. На вопросы Лыткина о вещах он отвечал коротко и точно. Золото и часы отвёз в среду в Куйбышев и продал у вокзала незнакомому человеку, имени не знает. Шубы лежат на даче у тётки в садовом товариществе за Самаркой, в домике под полом, тётка ничего не знает. Деньги — дома, в жестянке из-под индийского чая, на шкафу.

— А ключи? — спросил Шерстнёв. — Семь слепков, семь ключей. Три вы уже использовали. Где остальные четыре?

Эдик пожал плечами.

— Выбросил. В среду вечером, когда понял, что вы по квартирам ходите. В прорубь на Самарке, за мостом. Можете нырять.

Он сказал это легко и сразу. Слишком легко и слишком сразу. И впервые за весь допрос отвёл глаза.

IX. Красный мешок

В тот вечер Шерстнёв долго играл на баяне. Не ту свою тягучую фразу, которую он повторял по ночам, когда задача не складывалась, а песни — военные, старые, одну за другой. Я знал эту его привычку: так он отдыхал от мыслей, чтобы потом вернуться к ним со свежей головой. За окном мела позёмка, и фонарь напротив то исчезал в снежной каше, то снова вспыхивал жёлтым пятном.

— Вы не верите про прорубь, — сказал я, когда он наконец сдвинул меха и поставил баян на пол.

— Не верю. По трём причинам. Первая: он ответил слишком быстро. На всё остальное он отвечал, подумав, как мастер, который сначала меряет, потом режет. А здесь ответ был готов заранее. Вторая: человек, который не стал уступать сорока рублей за краденый магнитофон, не выбросит в реку четыре готовых ключа от чужих квартир. Для него это не улики, доктор. Это вложения. Двадцать третье февраля и март. Пай за квартиру сам себя не внесёт.

— А третья?

— Третья — печка. Зачем сжигать слепки, если ключи уже на дне реки? Слепок без ключа ничего не доказывает: так, комок пластилина с цифрами. А он его жёг, и жёг в среду, в спешке. Потому что слепки лежали в гараже, а гараж могли обыскать. А ключи лежали не в гараже. И не дома — дома лежали деньги, он сам нам это сказал, и сказал легко, потому что деньги безымянны. Ключи он спрятал там, где их никто не станет искать. А если кто-то случайно найдёт, то на него не подумает.

Он помолчал.

— Вспомните, что сказала Лена. На второй или третий день после Нового года Эдик сам вызвался отнести костюм Деда Мороза в ДК и сложить в сундук. В сундук, замок которого он сам чинил месяцем раньше. И ключ от которого целую неделю носил в кармане. Сундук с костюмом Деда Мороза никто не откроет до декабря. А в субботу двенадцатого, в субботу днём, Белецкий репетировал в ДК, и привёз его туда, скорее всего, тот же заботливый внучатый зять. Он взял три нужных ключа, пока старик ставил сцену, а остальные оставил там, где они лежали.

— В сундуке с костюмами.

— В Деде Морозе, доктор, — тихо поправил Шерстнёв. — И подумайте вот о чём. Если бы эти ключи нашли не мы, а тот вежливый молодой лейтенант, который уже спрашивал Белецкого, где он был в ночь на тринадцатое? Ключи от четырёх квартир из списка профкома — в костюме Деда Мороза. У старика без алиби. Кого бы стали спрашивать?

Я не ответил. Мне вдруг стало холодно, хотя печка была натоплена до треска.

Утром в субботу мы снова пришли в ДК «Железнодорожник», на этот раз втроём, с Лыткиным. Репетиция уже шла, но из комнаты под сценой не доносилось ни густого баса, ни смеха. Белецкий сидел на стуле у стены с пьесой на коленях и не смотрел в неё. Кружковцы вяло читали роли по тетрадкам, поглядывая на него искоса. Вчера по городу разнеслось, что жениха его внучки забрали прямо из цеха, и теперь каждый достраивал остальное сам.

Увидев нас, старик поднялся.

— Ребята, до завтра, — сказал он кружковцам, и они разошлись тихо, без обычного гама. Когда за последним закрылась дверь, Белецкий повернулся к нам. — Лена мне всё рассказала. Вчера вечером. Вы за ним?

— За вашим сундуком, Савва Никанорович, — сказал Шерстнёв. — Откройте его, пожалуйста.

Костюмерная была тесной комнаткой без окон, заставленной вешалками и коробками. Пахло пылью, гримом и старой материей. На вешалках висели кафтаны, сарафаны, солдат-

ские шинели, чиновничьи сюртуки для «Ревизора». В углу, под тусклой лампочкой, стоял старый деревянный сундук, обитый жестью, с новеньким врезным замком, воткнутым аккуратно, заподлицо.

Белецкий отпер его и откинул крышку. Руки у него дрожали.

Сверху, сложенная вчетверо, лежала шуба Деда Мороза — красная, с белой оторочкой из ваты, уже немного пожелтевшей. Под ней — борода на резинке, шапка, рукавицы, серебристый посох со звездой на конце. И на самом дне, свёрнутый в тугой валик, — мешок. Красный, бархатный, с вышитыми по краю серебряными звёздами, тот самый, что сшила покойная жена.

Шерстнёв развернул его на крышке сундука. Мешок был сделан на совесть: бархат снаружи, плотная бязь изнутри, между ними тонкий слой ватина, чтобы держал форму. Он медленно провёл ладонью по дну, потом перевернул мешок изнанкой и наклонился к лампочке.

— Савва Никанорович. Ваша жена шила на машинке или руками?

— Руками, — глухо ответил старик. — У нас не было машинки. Она его целую зиму шила. Шестьдесят третий год. Леночки ещё не было. А что?

Шерстнёв показал. Вдоль всего дна шёл старый шов — мелкие, не совсем ровные, живые стежки выцветшей красной ниткой. И только в одном месте, в углу, сантиметров на десять, стежки были другими. Ровные, одинаковые, словно их размечали штангенциркулем. Нитка была тоже красная, но ярче и с блеском: капрон.

— Это не Машины стежки, — прошептал Белецкий. — Маша так не шила. Она шила… как жила. Вкривь и надёжно.

Шерстнёв достал перочинный нож и посмотрел на старика. Тот кивнул. Десять капроновых стежков лопнули один за другим под лезвием. Между бархатом и бязью, в прослойке ватина, лежал плоский свёрток из синей материи — лоскут рабочей спецовки. Шерстнёв развернул его на ладони.

Четыре новеньких латунных ключа. Каждый был обёрнут узкой полоской клетчатой бумаги из тетради, и на каждой полоске мелким, чётким, чертёжным почерком было выведено: «7/12 — 23.II». «9/27». «11/4, собака». «7/40 — III, Ессентуки».

Ахмеровы. Кравцовы. Гладкие с их Джульбарсом. Воронины.

Белецкий смотрел на ключи в ладони Шерстнёва долго, не мигая. Потом медленно, как очень старый человек, опустился на край сундука, прямо на красную шубу.

— В Машин мешок, — сказал он. — Он зашил это в Машин мешок.

Никто из нас не нашёлся, что ответить. Лыткин кашлянул, полез за бланком протокола и так и не достал его. А старик сидел на красной шубе Деда Мороза, с ватной оторочкой, и гладил рукой старый бархат со серебряными звёздами.

В тот же день Лыткин положил синий свёрток на стол перед Эдуардом Карпенко. Эдик долго смотрел на него. В этот раз он не усмехнулся.

— Я не на деда, — сказал он наконец, не поднимая глаз. — Я не для того. Я думал, туда никто не полезет. Никто и никогда.

— А если бы полезли? — спросил Лыткин. — А если бы его, семидесятилетнего, посадили вместо тебя? Ты бы пришёл?

Эдик молчал. Молчал так долго, что это молчание стало ответом.

Вечером Лыткин объехал четыре квартиры. У Ахмеровых, Кравцовых, Гладких и Ворониных в понедельник сменили замки. Слесаря прислал ЖЭК, и оказался им не кто иной, как старый Фёдор Игнатьевич Сурков, тот самый, из теплотрассы за «Красной шапочкой». Он поставил четыре новых английских замка и в каждой прихожей, как мне потом рассказывали, снимал со стены ключницу и вручал хозяйке с одним и тем же наставлением:

— Ключ, хозяйка, — не картина. Его на стенку не вешают.

X. Чему смеётесь?

На этом, строго говоря, дело и кончилось. Через неделю Лыткин передал папку следователю, следователь — в прокуратуру, и дальше всё пошло тем медленным казённым ходом, которым в нашей стране движутся бумаги: с печатями, подписями, повторными допросами потерпевших и долгими паузами, во время которых кажется, что о деле забыли. Но в Бузулуке ничего не забывают. Маленький город похож на коммунальную кухню: всё, что сварилось в одной кастрюле, через день знает весь коридор.

Я бы и закончил на этом, если бы не Савва Никанорович.

В последний вторник января меня вызвали к нему на дом. Позвонила Лена, из автомата у медучилища, и голос у неё был такой, что я взял чемоданчик и пошёл, не дожидаясь, пока участковая из поликлиники доберётся до него по своему списку. Белецкие жили на Чапаева, в старом двухэтажном доме с деревянной лестницей, которая скрипела на каждой ступеньке по-своему, будто читала стихи.

Старик лежал на диване под клетчатым пледом, одетый, в шерстяных носках. На стуле рядом стоял стакан с недопитым чаем, на подоконнике — тот самый экземпляр «Ревизора», распухший от закладок. Давление было сто восемьдесят на сто десять. Пульс частил и сбивался.

— Вы мне только не говорите, что это от погоды, доктор, — сказал он, пока я снимал манжету. — Я семьдесят лет живу при этой погоде.

— Не скажу. — Я отсчитал ему таблетки и велел Лене поставить грелку к ногам. — Это от того, что вы третью неделю не спите и не едите. Лена говорит, вы и в ДК не ходите.

— Не хожу.

Он помолчал, потом протянул руку к столу и подал мне сложенный вдвое тетрадный листок. Почерк был крупный, с завитками, какими в двадцатые годы учили писать в гимназиях, а потом в школах для взрослых. «Директору ДК “Железнодорожник” тов. Пескову В. И. от руководителя драматического кружка Белецкого С. Н. Заявление. Прошу освободить меня от обязанностей руководителя кружка по собственному желанию в связи с…» Дальше было зачёркнуто три раза, и окончания у заявления не было.

— Не знаю, что написать, — признался он. — «В связи с состоянием здоровья» — враньё, Лена не позволит. «В связи с возрастом» — так я и прошлый год был не моложе. А правду не напишешь.

— А какая правда?

Он посмотрел на меня с тем выражением, с каким, должно быть, смотрел со сцены на нерасторопного партнёра, забывшего реплику.

— Правда такая, доктор, что я двадцать лет хожу по квартирам с мешком. Каждый год, тридцать первого декабря. Дети меня ждут. Родители мне открывают дверь — вот так, настежь, — он развёл руки, и плед сполз на пол, — и ведут в комнату, к ёлке. Мне доверяют, понимаете? Меня, чужого старика в бороде из ваты, пускают в дом, где спит младенец. А в этом году за мной в эту открытую дверь вошёл вор. Я его привёл. На своей машине, со своей внучкой. Я его, можно сказать, представил хозяевам. И ключи он прятал в моём мешке. — Голос у него дрогнул, но он справился. — Какой из меня теперь Дед Мороз? Да и какой режиссёр, если я у себя под носом не разглядел?

Лена, стоявшая у двери с грелкой, отвернулась к окну.

Я не нашёлся, что ему ответить. Медицина знает, что делать с давлением, но против этого у неё таблеток нет. Я поправил плед, записал, когда принимать лекарства, и сказал, что зайду в четверг.

Шерстнёв выслушал мой рассказ вечером, не перебивая. Он сидел у стола и чистил ножиком мундштук баяна, и я не был уверен, что он вообще меня слышит. Но когда я дошёл до заявления с тремя зачёркнутыми концовками, он отложил ножик.

— Сколько, вы говорите, у него было адресов в этот Новый год?

— Двадцать два.

— Двадцать два, — повторил он. — Из них в трёх квартирах украли. В четырёх — собирались украсть, но не успели. Остаётся пятнадцать. Пятнадцать семей, у которых Дед Мороз просто побывал. Пятнадцать ёлок, пятнадцать стишков на табуретке. И ещё двадцать лет до этого — сколько это будет? Четыреста с лишним квартир, если считать грубо. — Он покачал головой. — Карпенко взял у него ключ от сундука, доктор. Ключ от сундука — это да. А четыреста вечеров он взять не мог. Они не в сундуке лежат.

— Вы бы ему это сказали.

— Я ему это скажу. Но не я ему нужен.

Что он имел в виду, я понял только в четверг.

Когда я поднялся по скрипучей лестнице, дверь в квартиру Белецких была приоткрыта, и из неё доносились голоса — молодые, громкие, перебивающие друг друга. В комнате, где во вторник лежал больной старик, было не протолкнуться. Кружковцы — человек восемь, если не больше, — сидели на диване, на стульях, на подоконнике, двое прямо на полу, и у каждого в руках была тетрадка с ролью. Худой паренёк в очках, который, как я потом узнал, играл Хлестакова, стоял посреди комнаты и, размахивая руками, читал монолог о тридцати пяти тысячах одних курьеров. Савва Никанорович сидел в кресле, закутанный в плед, и сердито стучал карандашом по подлокотнику.

— Не так! Не так, Серёжа, господи ты боже мой! Ты не врёшь — ты сам в это веришь! Ты же в эту минуту действительно министр! У тебя в глазах курьеры скачут! Ещё раз, с «Я, признаюсь, литературой существую»!

Лена стояла в дверях кухни и смотрела на деда так, как смотрят на выздоравливающего ребёнка, который впервые за неделю попросил есть. Увидев меня, она приложила палец к губам и шёпотом рассказала, что ребята пришли в среду сами, никого не спросив. Принесли пирог с капустой от чьей-то матери и сказали, что без Саввы Никаноровича спектакль играть не будут, а двадцать третьего февраля в ДК уже висит афиша. И что если он уйдёт, то кружок разойдётся, потому что никто другой с ними возиться не станет.

— Это вы им сказали? — спросил я Шерстнёва вечером.

— Помилуйте, доктор. Я только зашёл в ДК поинтересоваться, будет ли спектакль. И рассказал вахтёрше, что режиссёр болен и собирается уходить. Остальное вахтёрша сделала лучше любого Совинформбюро.

Давление у Белецкого в тот четверг было сто пятьдесят на девяносто. Заявление с тремя зачёркнутыми окончаниями я больше не видел.

Теперь — о других. Читатель, который дошёл до этого места, вправе знать, чем кончилось у каждого, и я постараюсь ничего не упустить.

Шубы Мальцевой и Шуваловых нашлись там, где сказал Эдик, — на даче у его тётки, в садовом товариществе за Самаркой. Они висели в фанерном шкафу, завёрнутые в старые простыни и пересыпанные нафталином, так что Валентина Петровна, получив свою шубу под расписку, ещё неделю проветривала её на балконе. Пуговицу, найденную под ковриком в боксе тридцать один, ей вернули отдельно, в бумажном конвертике с номером вещественного доказательства. Пришила она её сама. Магнитофон Шуваловы получили обратно уже после суда — с той же трещиной на левом углу и с той же самодельной жестяной крышкой. Павел Семёнович, говорят, первым делом поставил на нём Высоцкого и слушал до ночи, к неудовольствию соседей.

С золотом вышло хуже. Кольца, серьги и цепочки Эдик сбыл на вокзале в Куйбышеве незнакомому человеку, которого не мог описать иначе как «в дублёнке и с золотым зубом», а таких на куйбышевском вокзале в любой день можно было насчитать десятка два. Куйбышевская милиция обещала поискать. Насколько я знаю, ничего не нашли. Деньги из жестяной коробки из-под индийского чая, найденной при обыске в квартире Карпенко, — без малого тысячу девятьсот рублей — суд потом обратил в возмещение ущерба. Этого не хватило.

У Ахмеровых двадцать третьего февраля, как и было задумано, была свадьба в Оренбурге, у племянника. Они уехали с новым замком, который поставил Фёдор Игнатьевич, и вернулись к пустой, нетронутой, промёрзшей квартире, в которой никто не побывал. Ринат Ахмеров потом специально зашёл к нам на Отакара Яроша с бутылкой коньяку, привезённой из Оренбурга. Шерстнёв коньяк принимать отказался, а Клавдия Степановна, наоборот, приняла и спрятала в буфет — «для компрессов».

Воронины в марте уехали в Ессентуки. Гладкие продолжали держать Джульбарса, и Джульбарс продолжал лаять на всех, кто подходил к их двери, включая меня, когда я в феврале пришёл к старшей Гладкой с её радикулитом. А Вовка Кравцов, чья ангина спасла родительскую квартиру от вора, о своей заслуге так и не узнал. Мать решила, что мальчику такие вещи знать незачем.

Нину Тимофеевну Карпенко я встретил один раз — в начале февраля, в поликлинике на Ленина, в коридоре у кабинета кардиолога. Я её не узнал бы, если бы она сама не подошла. Невысокая, полная, в сером пуховом платке, сбившемся на затылок. Она остановилась передо мной, долго смотрела, будто проверяла, тот ли, потом сказала:

— Вы доктор Дронов. Вы с этим… учителем были. Когда моего Эдика…

— Был, — сказал я.

Я ждал, что она станет кричать или плакать. В госпитале под Кабулом я видел матерей, приезжавших к сыновьям, и знал, что горе выходит из человека по-разному. Но она не кричала. Она стояла, держа обеими руками сумку с больничными бумагами, и говорила тихо, ровно, словно повторяла то, что уже много раз сказала самой себе ночами.

— Он ведь не пил, доктор. Не курил даже. Грамот у него — полный шкаф. Он всё квартиру хотел. Говорил: мама, я Ленку в нашу двухкомнатную не приведу, где вы с отцом за стенкой, я ей свою дам, отдельную. Говорил: десять лет очереди ждать, я ж к сорока только получу, а жить когда? — Она помолчала. — Паспорт он мой взял. Сам. Я и не знала зачем. Сказал, ему на заводе справку надо, а его паспорт в паспортном столе. Я ему поверила. Я ему всегда верила.

И пошла по коридору, не попрощавшись, к кабинету, у которого сидела длинная очередь из таких же пожилых женщин в пуховых платках.

Суд был в середине марта. Я на нём не был; Лыткин потом рассказывал. Статья сто сорок четвёртая, часть вторая — кража личного имущества с проникновением в жилище, совершённая повторно. Эдуарду Карпенко дали пять лет. Адвокат напирал на характеристики, на Доску почёта, на комсомольскую работу, на то, что подсудимый полностью признал вину и помог следствию. Помог, замечу, уже после того, как мы нашли ключи. Характеристику с завода, впрочем, прислали хорошую. Дядя, заместитель директора по быту, на суд не пришёл.

— За весь процесс он ни разу в зал не посмотрел, — сказал Лыткин. — Ни на мать, ни на потерпевших. Только когда приговор зачитали, обернулся. Искал кого-то. Не нашёл.

Лены в зале не было.

Кольцо она вернула ещё в конце января. Отнесла его Нине Тимофеевне сама, в той же коробочке, в которой получила, и, по её словам, они обе проплакали на кухне у Карпенко целый вечер, хотя ни одна не сказала другой ничего обидного. Лена осталась жить с дедом, на Чапаева. Летом она закончила медучилище и пошла работать процедурной сестрой в железнодорожную больницу. Но это было уже потом.

А в конце января, через несколько дней после того четверга, я видел, как она сидела в костюмерной ДК под тусклой лампочкой, с красным бархатным мешком на коленях, и зашивала распоротый угол. Лена шила красной ниткой, вручную, мелкими стежками, не очень ровными. Иглу она держала не так, как держат швеи, а так, как в медучилище учат держать иглодержатель, и стежки выходили короткие, плотные, как на ране.

— Дедушка говорит, у бабушки Маши тоже были кривые, — сказала она, не поднимая головы, когда заметила меня в дверях. — Я вот думаю: пусть лучше кривые, зато свои.

Вкривь и надёжно, вспомнил я. Как жила.

Двадцать третьего февраля, в субботу, в День Советской Армии, зал ДК «Железнодорожник» был полон. Я пришёл в выходном костюме, который надевал раз в год, и с колодкой на груди — Клавдия Степановна настояла, сказав, что в такой день не стыдно. Шерстнёв надел свою единственную приличную тройку — ту самую, в которой, по его словам, когда-то отстаивал в гороно своё право ставить двойки детям ответственных работников. Мы сели в шестом ряду. Перед нами сидел Лыткин с женой: я впервые видел его в галстуке, и выглядел он в нём так, будто его вот-вот поведут на допрос. Через проход, ближе к сцене, я узнал Валентину Петровну Мальцеву с мужем и Диму, которого посадили на край кресла, чтобы ему было видно поверх голов. Чуть дальше сидели Шуваловы. Павел Семёнович, кажется, был единственным в зале, кто явился в валенках.

Я не знаток театра и не стану притворяться рецензентом. Скажу просто. Декорации были фанерные, и в третьем действии одна из дверей в доме городничего открылась сама собой, не дожидаясь, пока в неё войдут. Серёжа-Хлестаков дважды забыл текст, и суфлёр подсказывал так громко, что в шестом ряду было слышно каждое слово. Почтмейстер был слишком молод, а Анна Андреевна — слишком дородна для кокетки, хотя играла с таким азартом, что зал ей это простил. Это был любительский спектакль в железнодорожном Доме культуры районного города, и ничем другим он быть не мог.

Но городничего играл Савва Никанорович.

Сначала я его не узнал. На сцену вышел грузный, налитой, хитроглазый человек в мундире с потёртыми эполетами, с тяжёлой походкой хозяина, который в своём уезде знает каждую лужу и каждую взятку. Голос — тот самый густой бас, что я слышал в ДК в первый день, — гремел, раскатывался, понижался до вкрадчивого шёпота. Зал смеялся, когда он распекал квартальных, смеялся, когда он лебезил перед Хлестаковым, и смеялся, когда он, уже видя себя генералом, мечтал о петербургских обедах.

А потом пришло письмо. Хлестаков оказался не ревизором, и почтмейстер, захлёбываясь, читал вслух, что думает о городничем столичный проходимец. И старик на сцене начал меняться. Не сразу, а постепенно, как меняется лицо у больного, когда до него доходит диагноз. Он перестал быть смешным. Он стоял посреди сцены в своём нелепом мундире и смотрел, как над ним смеются чиновники, жена, дочь, весь его уезд. И вдруг повернулся к залу. Прямо к нам.

— Чему смеётесь? — сказал он негромко.

Зал ещё хихикал по инерции.

— Над собою смеётесь!.. Эх вы!..

Он сказал это не так, как положено по школьной хрестоматии, с гневом и обличением. Он сказал это устало, почти с жалостью, глядя куда-то в середину зала, и мне показалось, что он смотрит на Мальцевых. Или на Шуваловых. Или на нас с Шерстнёвым. Или вообще ни на кого, а на тот обыкновенный зимний вечер, когда он вошёл в чужую квартиру с красным мешком, а за ним вошёл ещё один человек, которого все, и он сам, считали своим.

В зале стало так тихо, что я услышал, как где-то в последних рядах скрипнуло кресло. Потом кто-то захлопал. Потом захлопали все.

Актёры трижды выходили кланяться, а в четвёртый раз вытолкнули на сцену смущённого суфлёра. Потом мы спустились в фойе. Там, у гардероба, в толпе, пахнущей мокрыми шубами

и духами «Красная Москва», нас нашла Валентина Петровна. Она держала Диму за руку, а Дима тянул её назад, к лестнице, ведущей за кулисы.

— Доктор, вы знаете этого артиста? Ну, который городничий? Ребёнок замучил. Как тот вышел на сцену, так и твердит, что это Дед Мороз. Я ему: Дима, это пьеса, это Гоголь, какой Дед Мороз в феврале? А он своё.

Савва Никанорович как раз спускался по лестнице — уже в своём обычном пиджаке, с красными пятнами на щеках, которые оставляет плохо стёртый грим. Его со всех сторон хлопали по плечу и жали руку. Увидев Валентину Петровну, он замер на нижней ступеньке. Я понял, что он её узнал, хотя был у неё в доме всего один раз, и то в бороде.

Дима вырвался из материнской руки и подбежал к нему.

— Вы Дед Мороз, — сказал он твёрдо, задрав голову. — Я вас по голосу узнал. Вы у нас были. Вы мне машину подарили, пожарную, с лестницей.

Старик присел перед ним на корточки — медленно, держась за перила. Колени у него хрустнули.

— А ты, значит, Дима. Который стишок про ёлку читал. И сбился на третьей строчке.

— Не сбился! — возмутился Дима. Потом подумал и уточнил: — Чуть-чуть.

— Чуть-чуть, — согласился Дед Мороз.

— А вы ещё придёте? На тот Новый год?

Валентина Петровна шагнула было вперёд, чтобы увести сына, и остановилась. Шерстнёв рядом со мной медленно снял очки и принялся протирать их носовым платком, хотя они были совершенно чистые.

Савва Никанорович долго молчал. Потом положил мальчику руку на макушку.

— Приду, — сказал он. — Если позовёте.

— Позовём, — ответила за сына Валентина Петровна. Тихо и сразу.

Когда Мальцевы ушли, старик поднялся, отряхнул брюки на коленях и подошёл к нам. Лицо у него было мокрое, и, по-моему, не от грима.

— Я вот что решил, Вениамин Аркадьевич. Я их больше не буду спрашивать, где они будут праздновать. Никогда. Двадцать лет спрашивал, старый дурак. Думал, детям приятно — им ведь хочется рассказать, что к бабушке поедут, в деревню, на санях. А это, выходит, вопрос не детский. Это вопрос для вора.

— Что же вы будете спрашивать?

— Что загадали, — сказал Белецкий. — Что загадали под Новый год. Такое вор не украдёт. Ему с этого никакого прибытку.

Домой мы шли пешком по Ленина, хотя Лыткин предлагал довезти на служебном «уазике». Стояла оттепель, первая в том году. С крыш капало, под ногами хлюпал серый ноздреватый снег, а в свете фонарей висел сырой туман. Шерстнёв долго шёл молча, сунув руки в карманы пальто, и только у поворота на Отакара Яроша заговорил:

— Самая неприятная сторона нашего ремесла, доктор, — как вы думаете, какая?

— Что приходится сажать людей, которые вам симпатичны?

— Нет. К этому можно привыкнуть. — Он помолчал. — Хуже другое: каждое раскрытое дело кого-нибудь учит запирать дверь. Мальцева теперь не повесит ключ в прихожей. Ахмеровы, уезжая, будут просить соседку каждый вечер проверять квартиру. Это правильно, я сам им так советовал. Но двадцать лет этому старику открывали настежь. А теперь, когда он придёт к Мальцевым, Валентина Петровна, может быть, сначала посмотрит в глазок. Вора мы поймали. Но кое-что он у этого города всё-таки унёс, и этого в протокол не впишешь.

Я думал о Диме Мальцеве. Ему девять лет, и Дед Мороз обещал прийти. В глазок он смотреть не станет.

— Валентина Петровна сказала «позовём», — напомнил я. — Сразу, не раздумывая.

Шерстнёв посмотрел на меня и кивнул — так учитель кивает ученику, который ответил не по учебнику, но верно.

— Сказала, — согласился он. — И это тоже в протокол не впишешь.

Дома Клавдия Степановна напоила нас чаем с вареньем из чёрной смородины и тем самым коньяком «для компрессов», которого в бутылке оказалось почему-то меньше, чем было вначале. А Шерстнёв уже за полночь взял баян и долго, почти неслышно, чтобы не разбудить хозяйку, играл «В лесу родилась ёлочка», хотя на дворе доживал свои дни февраль и с крыши капало прямо под окно.

Рассказ 2. Сторож зимнего лагеря

I. Авоська

Конец января восемьдесят пятого выдался таким холодным, что даже старожилы перестали вспоминать сорок второй год: сравнивать стало не с чем. В поликлинике на Ленина у гардероба стоял иней на внутренней стороне дверей, и к обеду я принял трёх человек с обморожениями: двух шофёров и мальчишку, который по дружескому спору лизнул железную трубу на детской площадке. Домой я вернулся в четвертом часу, рассчитывая на горячий чай и час тишины.

Клавдия Степановна встретила меня в сенях, вытирая руки передником.

— У нас дед, — сказала она вполголоса. — С бора. Час уже сидит. В больницу не идёт, говорит, там его на неделю положат, а ему нельзя. К вам пришёл. И к Вениамину Аркадьевичу тоже. Рука у него, Алексей Николаевич, — смотреть страшно.

Старик сидел на кухне, у самой печки, на краю табурета, как сидят люди, не привыкшие к чужим домам. Высокий, сухой, с длинными руками, которые он не знал, куда деть. Лицо обветренное, тёмное, в глубоких морщинах, седые усы пожелтели по краям, хотя табаком от него не пахло. Пахло хвоей, дымом и снегом. На нём был старый овчинный полушубок, ватные штаны и серые валенки с резиновыми подошвами — такие в сёлах называют «на ходу». Правую руку он держал на колене, обмотанную чистой, но старой полотняной тряпкой. У ног стояла потёртая авоська, набитая чем-то и прикрытая сверху газетой.

Шерстнёв сидел напротив, у окна, с недопитым стаканом. По тому, как он кивнул мне, я понял, что расспрашивать нашего гостя он ещё не начинал и ждал меня.

— Завьялов, — представился старик, приподнявшись. — Ефим Лукич. Сторожу в пионерлагере нефтяников, в «Лесной сказке», что за Колтубановским. А до того тридцать лет лесником был, в Колтубановском лесничестве. Про вас мне Корнилов сказывал, что в церкви поёт. У него сестра у нас в посёлке живёт.

Я размотал тряпку. Клавдия Степановна не преувеличила. Три пальца правой руки — средний, безымянный и мизинец — были отечны и багрово-синюшны, на двух вздулись пузыри с мутноватой жидкостью. Обморожение второй степени, суточной давности, не больше. В Афганистане мне чаще приходилось иметь дело с ожогами, но горная зима под Салангом тоже была хорошей школой.

— Как это вы так, Ефим Лукич?

— Рукавицу потерял, — сказал он. — Ночью, в сугробе. Пока искал, пока до сторожки добрался… Там минус тридцать было, а то и больше. В бору всегда холодней, чем в городе.

Я вскрыл пузыри, обработал пальцы и наложил повязку с синтомициновой эмульсией. Старик терпел молча, только жевалки ходили под седой щетиной. Когда я закончил и сказал, что через два дня надо показаться снова, а лучше всего лечь на неделю в хирургию, он покачал головой.

— Нельзя мне в больницу. Лагерь на ком оставлю? Я и сейчас на полдня отпросился, к последнему автобусу должен успеть. Я, доктор, не с рукой к вам ехал. Рука — так, заодно. — Он повернулся к Шерстнёву. — У нас в лагере кто-то живёт.

Шерстнёв поставил стакан на подоконник.

— Рассказывайте по порядку, Ефим Лукич. С самого начала и не торопясь. До последнего автобуса ещё три часа.

Старик помолчал, собираясь с мыслями. Рассказчик из него был неважный: он говорил коротко, с долгими паузами, и время от времени возвращался назад, чтобы что-то поправить. Я передам его историю так, как сложил её для себя в тот вечер.

Лагерь «Лесная сказка» стоял в бору, в трёх километрах от посёлка, на высоком берегу Самары. Десять деревянных корпусов, столовая, клуб, изолятор, баня, директорский домик, склад и сторожка у ворот. Летом там жили триста детей нефтяников, зимой — один Ефим Лукич с собакой Дамкой и старой одностволкой седьмого калибра, заряженной солью. Корпуса стояли заколоченные, с закрытыми ставнями, вода из труб слита с осени, свет горел только в сторожке и на столбе у ворот.

Примерно с половины января, сказал старик, в лагере стало «нечисто». Сначала он заметил, что из трубы третьего корпуса, стоявшего на отшибе, у самого обрыва, ранним утром тянет дымком. Пошёл смотреть — замок на месте, ставни закрыты, а печка внутри тёплая. Потом из лагерной кладовой пропали два старых ватных одеяла. Потом — старик сказал это, понизив голос, и Клавдия Степановна у плиты перестала звенеть посудой — позавчера ночью, в начале третьего, над лагерем заиграл горн.

— Горн? — переспросил я.

— Пионерский. Как летом. Я его три лета каждый день слышу, ни с чем не спутаю. Дамка завыла, я подскочил, ружьё схватил — и на двор. А оно трубит и трубит. Со стороны третьего корпуса. Я туда напрямик, через линейку, а там снегу по пояс. Упал, рукавица слетела. Пока поднялся — тихо. Только Дамка скулит.

— Какой сигнал играл горн? — спросил Шерстнёв.

Старик удивлённо на него посмотрел.

— Отбой, — сказал он. — «Спать, спать по палатам». Два раза проиграло, и на третий раз сбилось.

— Отбой, а не тревога и не подъём, — заметил Шерстнёв, ни к кому не обращаясь. — И сбился. И что вы нашли у третьего корпуса?

— Следы, — помедлив секунду, ответил старик. — Утром уже, при свете. Большие. Сапоги или ботинки какие, с рисунком, размером с мой валенок, а то и более. Вокруг корпуса кругом, под каждым окном стоял, ставни пробовал. А потом — в лес, к дороге на Боровку.

— А в сам корпус эти следы входили?

— Нет, — сказал старик и отвёл глаза. — Не входили.

— В милицию вы заявляли?

Старик невесело усмехнулся.

— Заявлял. Участковому нашему, Хабибуллину. Он вчера приехал, посмотрел — а следы за сутки позёмкой замело. Замок цел. Одеяла, говорит, сам пропил, дед. А горн тебе приснился. Так и сказал: призрак пионера у тебя, Лукич, все лагеря ими кишат. Вся посёлок теперь смеётся. А я, доктор, в рот не беру. У меня эта работа одна осталась.

Шерстнёв задал ещё несколько вопросов — на первый взгляд пустячных. Живёт ли Ефим Лукич один? Один, старуха пять лет как померла. Дети есть? Дочь, в городе живёт, своя семья, нечасто видятся. Ключ от третьего корпуса есть у кого-нибудь, кроме него? У завхоза в городе, вся связка. Кто зимой приезжает в лагерь? Да никто, раз в месяц завхоз на «Буране» по зимнику — проверить, не растащили ли.

Потом старик взглянул на ходики на стене и засобирался. Денег за перевязку я брать не стал, и он долго не мог с этим смириться.

— Вы приедете? — спросил он уже в дверях, обращаясь к Шерстнёву. И в этом вопросе мне послышалась не просьба, а что-то вроде страха.

— Приеду, — сказал Шерстнёв. — В субботу, первым автобусом. А до того, Ефим Лукич, ночью с ружьём по сугробам не бегайте. Дверь сторожки запирайте и собаку держите при себе.

Старик посмотрел на него долгим взглядом, подхватил авоську левой, здоровой рукой и вышел. В сенях скрипнули половицы, хлопнула дверь, и морозный пар полз по полу до самой кухни.

— Ну, и что вы обо всём этом думаете? — спросил я.

Шерстнёв допил свой остывший чай и поморщился.

— Думаю, что нам рассказали половину. И что человек он честный — лгать не умеет и потому просто молчит там, где пришлось бы соврать. Вы заметили, как он ответил про следы? «Не входили». Эти — не входили. А кто тогда топил печку в закрытом корпусе? Об этом он не сказал ни слова, и мы его не спрашивали. А ещё вам стоило бы взглянуть в его авоську.

— Я не имею привычки заглядывать в чужие авоськи.

— А я имею. Пока вы вскрывали пузыри, газета сползла. Там три банки сгущёнки, буханка хлеба, две пачки «Примы» — некурящему человеку, обратите внимание. А сверху — шерстяные носки, новые, с фабричной бумажкой. Я успел разглядеть цифру: двадцать пять. — Он посмотрел на меня поверх очков. — У нашего гостя, если по валенкам судить, сорок восьмой размер обуви, доктор. А двадцать пятый размер носков носит подросток. Или некрупная женщина, но женщине вряд ли покупают «Приму». Живёт он, как вы слышали, один. Так кому же он везёт носки в зимний лагерь?

II. Два незакрытых дела

Лыткина мы нашли на следующий день в его кабинете на втором этаже горотдела. В городе начинался грипп, половина отдела сидела на бюллетене, и капитан, судя по покрасневшим глазам и графину с водой на столе, держался из последних сил. Стол был завален папками, и на самой верхней кто-то оставил круглый след от стакана с чаем.

— Если вы опять про Деда Мороза, то папка уже в прокуратуре, — сказал он вместо приветствия. — А если с чем-то новым, то лучше сразу скажите, насколько всё плохо.

— Пока ни насколько, Пётр Васильевич, — сказал Шерстнёв, усаживаясь на стул для посетителей. — У меня к вам два вопроса, оба по чужим делам. Первый: что случилось прошлым летом в пионерлагере «Лесная сказка»?

Лыткин посмотрел на него так, словно тот наступил ему на больную мозоль.

— Откуда вы про неё знаете? В газетах не писали.

— Я не знаю. Я спрашиваю. Но ваше лицо уже ответило, что спрашиваю я не зря.

Капитан вздохнул, встал, порылся в сейфе и бросил на стол толстую папку с махрящимися тесёмками.

— Висяк, — сказал он с чувством. — Самый противный за прошлый год. Ночь с четырнадцатого на пятнадцатое августа, конец второй смены. Директор лагеря, Бельская Нонна Аркадьевна, накануне получила в банке семь тысяч четыреста двенадцать рублей. Зарплата вожатым, поварам, техничкам за смену и расчёт с совхозом за овощи. Зачем совхозу наличными — не спрашивайте, это отдельная песня, ею уже Соколов из ОБХСС интересовался. Деньги лежали в сейфе, в директорском домике. Наутро сейф закрыт, а денег нет. Открыт ключом. Сейф старый, ещё трофейный скорее, ключ у него один. И ключ этот всю ночь лежал в сумочке у Бельской, а сумочка — на стуле в её спальне, через стенку от кабинета.

— И она ничего не слышала.

— Ничего. У неё бессонница, она на ночь принимала таблетку. Это в лагере все знали, медсестра ей эти таблетки и выдавала. Окно спальни было открыто — август, жара. Залезай и бери.

Шерстнёв кивнул.

— Кого подозревали?

— Как обычно — всех, — Лыткин принялся загибать пальцы. — Физрук Гусев Валерий, двадцать девять лет. В преферанс играл по крупной, должен был одному нехорошему человеку с вокзала рублей семьсот. В ту ночь его видели возле директорского домика в первом часу — говорит, ходил к вожатой из пятого отряда, и вожатая это, покраснев, подтвердила. Завхоз Плотников Тимофей Ильич, сорок восемь лет, в лагере одиннадцать лет, знает там каждую доску. Алиби — спал дома, в складской пристройке, жена подтверждает, а что ещё жена скажет. Шофёр Рязанцев — тот ночевал в городе, чист. Медсестра, поварихи, вожатые — по мелочи. Ну и сторож.

— Завьялов? — не удержался я.

Лыткин поднял на меня свои красные глаза.

— Он. Дежурил в ту ночь, обходил лагерь два раза, в полночь и в четыре. Ничего не видел, ничего не слышал. Дед честный, весь район за него поручится, но какой из него сторож в шестьдесят восемь лет — сами понимаете. А теперь самое главное. — Он постучал пальцем по папке. — Утром пятнадцатого, как только пропажу обнаружили, Бельская закрыла ворота и позвонила нам. Из лагеря никто не выезжал и не выходил. Мы приехали к девяти. Обыскали всё. Вещи персонала, корпуса, склад, столовую, баню, даже детские чемоданы — так, чтобы дети не видели, пока они на линейке стояли. Собаку привозили из Оренбурга. Собака побегала вокруг домика и села у обрыва над Самарой. Всё. Ни рубля.

— То есть деньги остались в лагере, — сказал Шерстнёв.

— Или в бору вокруг лагеря, что практически то же самое, что в Сахаре. Или в Самаре, если кто-то сдуру выбросил. Или вынесли через три дня, когда смена разъезжалась, — всех же не обыщешь второй раз. Деньги в банковских пачках, по десять и по двадцать пять, с бандеролями и штампом кассира. Номера купюр, конечно, никто не писал. В городе они так и не всплыли. По крайней мере так, чтобы мы заметили. Гусев свой долг так и не отдал, его в сентябре на лестнице избили, это я точно знаю. С тех пор слежу вполглаза — в школе работает, живёт на зарплату. Плотников — тоже вроде без перемен. Город маленький, человек с семью тысячами тут не спрячется: или машину купит, или пить начнёт, или жена шубу наденет. А ничего. — Он сложил руки на папке. — Теперь ваш второй вопрос. И объясните наконец, к чему вы ведёте.

— Второй вопрос, — сказал Шерстнёв, — не ищете ли вы сейчас какого-нибудь подростка. Мальчика лет пятнадцати-шестнадцати, невысокого, курящего. Пропавшего в середине января.

Лыткин ничего не ответил. Он вытащил из стопки тонкую папку, раскрыл её и повернул к нам. С фотографии, приколотой скрепкой к ориентировке, на нас смотрел скуластый парень с чёлкой над самыми бровями и упрямым, недетским взглядом. Фотография была затёртая, из тех, что делают для ученического билета.

— Мельников Константин Анатольевич, шестнадцать лет, — прочёл Лыткин, не глядя в папку. — Учащийся ГПТУ нефтяников, первый курс. Рост сто шестьдесят два. Курит, да. Ушёл из дома тринадцатого января вечером. Первый микрорайон, дом четырнадцать. Жил с матерью и отчимом. Отчим, Сычёв Геннадий, водитель автобазы, в тот вечер был выпивши. Слово за слово, парень заступился за мать, толкнул отчима, тот упал и виском о батарею. Сотрясение, десять дней в больнице. Парень схватил куртку и убежал. А отчим, как очнулся, написал заявление. Причинение телесных повреждений. Так что мы его ищем и как пропавшего, и не совсем как пропавшего.

— А мать? — спросил я.

— Мать ходит сюда через день и плачет у меня в коридоре. Мельникова Зинаида Ефимовна, фамилия по первому мужу, отцу парня, — он на буровой разбился лет десять назад. Кальситица на молокозаводе. Заявление забрать просит своего Сычёва, а тот упёрся.

Ефимовна. Я посмотрел на Шерстнёва. Он сидел спокойно, как человек, которому прочитали вслух решение задачи, которую он сам решил накануне.

— Деда с материнской стороны зовут Ефим Лукич Завьялов, — сказал он. — И живёт он в лагере «Лесная сказка».

— Живёт, — мрачно подтвердил Лыткин. — Мы тоже не лыком шиты. Хабибуллин ездил туда шестнадцатого. Дед сказал: не видел, не приходил, откуда ему знать дорогу — он у меня с пяти лет не был. Хабибуллин сторожку осмотрел, склад осмотрел. Пусто. А корпуса закрыты, ключи у завхоза. Вы мне теперь скажите, Вениамин Аркадьевич, откуда вам этот дед известен. И при чём тут августовские деньги.

Шерстнёв рассказал — коротко, без догадок, одни факты: дым из трубы закрытого корпуса, одеяла, горн в три часа ночи, большие следы вокруг корпуса и содержимое авоськи. Лыткин слушал, и лицо его начинало темнеть.

— Итак, дед прячет внука, — сказал он, когда Шерстнёв закончил. — В корпусе, ключ от которого он, видимо, давно себе сделал. Несёт ему сгущёнку и носки. Хабибуллину соврал. А к вам приехал зачем? Чтобы вы его нашли? Это ж бессмыслица.

— Это кажется бессмыслицей только до тех пор, пока вы не вспомните про следы сорок пятого размера, — сказал Шерстнёв. — Старик приехал не про внука рассказать, Пётр Васильевич. Он приехал про того, кто ночью ходит вокруг корпуса и пробует ставни. В милицию он с этим пойти не может — милиция найдёт мальчика. И оставить всё как есть он тоже не может,

потому что боится. Вот он и пришёл к частному лицу, рассказал половину и надеется, что вторую половину я догадаюсь сам, но никому не скажу. А теперь спросите себя: кому нужно в январе, в тридцатиградусный мороз, за сорок километров от города, лезть в пустой пионерский лагерь, из которого нечего украсть, кроме ватных одеял? И не в любой корпус, а именно в третий?

Лыткин посмотрел на толстую папку с махрящимися тесёмками, потом на тонкую, с фотографией скуластого парня. Он долго молчал.

— До понедельника, — сказал он наконец. — У вас есть суббота и воскресенье. Я Хабибуллина не дёргаю. Но в понедельник утром парень должен сидеть вот на этом стуле. Живой, здоровый и с уликами или без. И ещё, Вениамин Аркадьевич… — Он помедлил. — Если вы правы, то в том лесу сейчас ходит человек, который полгода молчал про семь тысяч. Такие люди терпеливые. И не очень добрые. Доктор, вы ведь военный человек. Не отпускайте его там одного ни на шаг.

В субботу, в шесть сорок утра, в темноте, в скрипе снега и в дыму выхлопных труб, мы сели в обмёрзший пазик на колтубановской остановке у автовокзала. На стёклах изнутри был иней в палец толщиной. В рюкзаке у меня лежали термос, бинты и фонарь, а в внутреннем кармане шинели, которую я донашивал по холодам, — то, что лежало там с афганских времён и что я надеялся не доставать: старый индивидуальный перевязочный пакет и жгут.

III. Третий корпус

Автобус шёл до Колтубановского без малого два часа. За городом дорогу перемело, и водитель, пожилой татарин в шапке с опущенными ушами, дважды останавливался и выходил посмотреть, пройдём ли. Пассажиров было человек десять: бабы с мешками, солдат-отпускник и два мужика, которые всю дорогу спорили, придёт ли в феврале комбикорм. Шерстнёв сидел у окна, продышав в инее круглое окошко, и всю дорогу молчал.

Когда мы вышли у посёлкового магазина, уже рассвело. Небо было чистое, бледно-голубое, солнце висело низко над лесом, не грея, и над каждой трубой стоял прямой, как ствол, столб дыма. До лагеря вела укатанная лесная дорога, по которой лесничество вывозило сухостой, и мы зашагали по ней, оставляя за собой посёлок с его собачьим лаем и запахом кизяка.

Кто не бывал зимой в Бузулукском бору, тот вряд ли поймёт меня. Летом это просто хороший сосновый лес, жаркий, смолистый, полный комаров и отдыхающих. Зимой он становится другим. Рыжие стволы уходят вверх на тридцать метров, и там, наверху, на тёмных лапах, лежит снег, и время от времени одна из веток роняет свой груз, и тогда между стволами медленно опускается сверкающая пыль. Внизу же — тишина такая, что слышен скрип собственных шагов и где-то вдалеке сухой стук дятла. В такой тишине горн, думал я, должен был звучать как труба судного дня.

Шерстнёв шёл неторопливо, поглядывая на обочины. Один раз он остановился и долго разглядывал след, уходивший от дороги вправо, в глубь бора: две широкие параллельные полосы и посередине — ребристая дорожка, похожая на отпечаток гусеницы игрушечного танка.

— «Буран», — сказал я. Мотонарты в те годы уже появились у лесников, егерей и у тех, кому удавалось их достать.

— И не один раз, — отозвался Шерстнёв. — Смотрите: старый след, полузанесённый, а поверх него — свежий, с чёткими краями. Позёмка была в среду, вы помните, с четверга на небе ни облачка. Значит, свежий след оставлен в четверг или в пятницу. Пока наш сторож сидел у нас на кухне или трясся в последнем автобусе.

Лагерь открылся нам внезапно, за поворотом: зелёные деревянные ворота с фанерной аркой, на которой красными буквами, выцветшими до розового, было выведено «Лесная сказка», а пониже, помельче, — «Будь готов!». Рядом стояла сторожка — бревенчатая, низкая, с трубой, из которой шёл дым. За воротами в глубь бора уходила аллея, и по обе её стороны стояли заметённые по окна корпуса — длинные, одноэтажные, с верандами, в лупящейся голубой краске. На флагштоке посреди линейки сидела ворона. От аллеи к забору маршировали пионеры из гипса — горнист, барабанщик, девочка с веслом, — и у всех троих на головах лежали белые шапки снега.

Ефим Лукич ждал нас у ворот. Видимо, он вышел задолго и давно стоял на морозе — усы и брови у него побелели от инея. Рядом сидела Дамка, лохматая рыжая дворняга с одним стоячим ухом. Она обнюхала наши сапоги, недоверчиво чихнула и ушла в сторожку. Рука старика была на перевязи, как я и велел, и это меня почему-то тронуло.

— Чаю с дороги? — спросил он.

— Потом, Ефим Лукич, спасибо. — Шерстнёв оглядывал аллею. — Сначала покажите мне третий корпус. Только идите, пожалуйста, не по тропинке, а рядом с ней. И мы тоже так пойдём.

От сторожки по лагерю расходились тропинки, протоптанные в глубоком снегу одними и теми же валенками: к складу, к столовой, к директорскому домику, к клубу. Отдельной тропинки к третьему корпусу не было. Тропинка вела к складу, а уже от склада, круто сворачивая, вдоль задних стен двух других корпусов, скрытая от аллеи, шла к обрыву.

— Удобно, — сказал Шерстнёв вполголоса. — С дороги и от ворот видна только тропа к складу. Человек ходит на склад, что тут странного. Исключительно удобно.

Старик ничего не ответил. Спина его, маячившая впереди, стала как будто ещё прямее.

Третий корпус стоял на самом краю лагеря, за редкими соснами, в десятке шагов от обрыва. Внизу, метрах в двадцати, лежала под снегом Самара — белая изогнутая лента с чёрными промоинами на перекатах, за ней — заливные луга, а дальше синим горбом снова бор. Корпус был такой же, как другие: длинный, деревянный, с верандой по фасаду и с двумя трубами — по печке на каждую половину. На двери висел амбарный замок. Ставни на всех окнах были закрыты и закладены железными полосами с проушинами.

Шерстнёв жестом остановил нас шагах в десяти и пошёл вокруг корпуса один, по целине, часто останавливаясь и приседая на корточки. Я видел, как он задержался у торца, выходившего к обрыву, потом у крайнего окна на задней стене, как снял рукавицу и провёл пальцами по ставню. Когда он вернулся, лицо у него было сосредоточенное и невесёлое.

— Следы среды почти занесло, — сказал он. — Зато есть новые, и они гораздо интереснее. Ефим Лукич, ваш гость приходил снова. В пятницу ночью, в прошлую ночь. Вы ничего не слышали?

Старик побелел так, что это стало заметно даже под его тёмным загаром.

— Дамка лаяла, — хрипло сказал он. — Во втором часу. Я думал — лиса. Вы же сами сказали: не бегайте.

— И правильно сделали, что не бегали. — Шерстнёв кивнул в сторону бора. — Он оставил свой «Буран» за гривой, метрах в трёхстах, чтобы мотор не было слышно. Дальше шёл пешком по старому своему следу, шаг в шаг, — человек осторожный. Обувь сорок пятого или сорок шестого размера, подошва толстая, рисунок — ёлочка с поперечной полосой под каблуком. Такие ботинки, если не ошибаюсь, выдают буровикам и слесарям в НГДУ, утеплённая спецобувь. В городе в них ходит каждый третий мужчина, так что радоваться рано. Но вот что любопытно. В среду он обошёл весь корпус и пробовал все ставни подряд. А вчера пошёл прямиком к одному-единственному окну, крайнему слева на задней стене, и простоял у него долго — снег утоптан. На ставне свежие царапины у проушины. Он принёс с собой инструмент, попробовал сорвать замок — и бросил. Потому что изнутри что-то случилось. Вот здесь, прямо под окном, снег взрыт — он резко отскочил. А отсюда до бора шаги длинные, в полтора метра. Он бежал.

Он повернулся к старику.

— У вас ведь есть ключ от этого замка, Ефим Лукич. Откройте, пожалуйста.

Старик долго стоял, не двигаясь. Потом медленно, левой рукой, полез за пазуху и достал ключ на бечёвке. Замок открылся легко, как открываются замки, которые отпирают каждый день. Дверь скрипнула, и из темноты коридора нам в лицо потянуло не могильным холодом нежилого дома, а слабым теплом, дымком и запахом дешёвого табака.

В дальнем конце коридора, за приоткрытой дверью с надписью «Палата № 4. Отряд «Ровесник»», виднелся свет — тусклый, жёлтый, дрожащий, как от огня в печной топке. Шерстнёв прошёл туда и остановился на пороге. Я заглянул через его плечо.

В палате стояло восемь железных кроватей с голыми сетками, и только одна, у самой печки, была застелена: матрас, два ватных одеяла, сложенная вчетверо телогрейка вместо подушки. Печка-голландка в углу, обитая жестью, ещё держала тепло, и в приоткрытой топке дотлевали угли. На тумбочке стояли две пустые банки из-под сгущёнки, алюминиевая кружка, консервная банка-пепельница, полная окурков «Примы», и стопка затрёпанных книжек из лагерной библиотеки — «Остров сокровищ» лежал сверху, заложенный обёрткой от конфеты. А на подоконнике, перед закрытой ставнем рамой, сиял начищенной медью пионерский горн с красным сатиновым вымпелом.

В палате никого не было.

Шерстнёв снял шапку, как снимают её, входя в чужой дом, и сказал громко и спокойно, не задирая головы, в потолок, в тёмный коридор, в пустоту:

— Константин, меня зовут Вениамин Аркадьевич, я бывший учитель химии. Со мной доктор, он лечил руку твоему деду. Мы не из милиции, и забирать тебя никто не собирается. Но тот человек, который вчера ночью стоял под этим окном с монтировкой, вернётся. И лучше бы нам поговорить до того, как он вернётся.

Несколько секунд стояла тишина, и только тихо потрескивали угли в печке. Потом за моей спиной Ефим Лукич сказал тихо и очень устало:

— Слезай, Костя. Слезай. Не вышло у нас.

И тогда в коридоре, над самой входной дверью, какую мы только что прошли, скрипнула доска чердачного люка.

IV. Под половицей

Сначала из люка показались валенки — старые, дедовские, на два размера больше, чем нужно, с газетой, напиханной в носки. Потом ватные штаны, потом серая школьная куртка на рыбьем меху с драным локтем. Мальчик повис на руках, спрыгнул на пол, и с ним вниз посыпалась пыль и сухие сосновые иглы, нанесённые на чердак за много лет.

Он был ниже, чем я ожидал по фотографии, и гораздо худее. За две недели на сгущёнке и хлебе скулы у него заострились, под глазами легли тени, а на верхней губе темнел пушок, который ему, вероятно, очень хотелось считать усами. Чёлка отросла и лезла в глаза. Он встал спиной к стене, между нами и дедом, и посмотрел на нас тем самым упрямым, недетским взглядом, что и на фотографии. Только теперь в нём был страх.

— Я в колонию не пойду, — сказал он сипло, и это были его первые слова. — Я его не бил. Я его только оттолкнул. Он сам упал.

— Я знаю, — сказал Шерстнёв. — Садись, Константин. И вы, Ефим Лукич, садитесь. Доктор, подбросьте, если не трудно, дров в печку. Нам здесь долго разговаривать.

Рассказ Кости я передам своими словами — не потому, что он говорил плохо, а потому, что он говорил слишком быстро, взахлёб, перескакивая с одного на другое, как говорит человек, который две недели молчал и вдруг получил право говорить.

Тринадцатого января, выскочив из дома в одной куртке, он час сидел в подъезде соседнего дома и слушал, как к их подъезду подъехала скорая. Отчима вынесли на носилках, и Костя решил, что убил его. Денег у него было рубль сорок — хватило на последний автобус до Колтубановского. От посёлка он шёл три километра лесом, ночью, в сорокаградусный мороз, и дошёл только потому, что в детстве провёл в этом лагере три лета подряд и знал дорогу. Дед отогрел его, накормил и наутро сходил в посёлок позвонить в город соседке дочери. Узнал, что отчим жив, но в больнице и что из больницы он уже написал заявление.

— Я ему говорил: поедем, Костя, сам придёшь, сам расскажешь, — глухо сказал Ефим Лукич. — А он как камень. Посадят, говорит. Ну я и… — Он махнул здоровой рукой. — Думал, пересидит неделю-другую, Генка отходит, Зинка его уломает заявление забрать. Ключ от третьего у меня с давних пор, я осенью сам тут воду сливал. Печка здесь самая исправная. От дороги далеко. А Хабибуллину я… ну, вы знаете.

Первая неделя прошла спокойно, если не считать тоски. Днём Костя печку не топил, чтобы не было видно дыма, и сидел под одеялами с книжкой; топил ночью и на рассвете. Книжки дед приносил из лагерной библиотеки, одеяла — из кладовой, те самые «пропавшие». Дрова Костя колол сам, старым колуном, прямо в коридоре, из поленницы, которую ещё осенью сложили у задней двери. А восемнадцатого, в пятницу, когда он сметал стружку у печки, одна из половиц под веником прогнулась и встала дыбом.

— Она и раньше скрипела, — сказал Костя. — А тут прямо поднялась. Гвоздей нет, она просто вставлена. Я думал, там мышиное гнездо. Подцепил колуном…

Он посмотрел на деда. Дед посмотрел на Шерстнёва. Шерстнёв ничего не сказал, только встал, подошёл к печке и присел на корточки. Половица — широкая, тёмная, крашенная коричневой краской, как и все остальные, — вынулась совсем легко. В зазоре между лагами, на сухой земле подполья, лежал свёрток размером с кирпич, завёрнутый в клеёнку — белую, с выцветшим рисунком из вишенек, такой, какой в те годы застилали столы во всех лагерных столовых области. Свёрток был перетянут крест-накрест тонким плетёным шнурком.

Шерстнёв не стал сразу его доставать. Он долго смотрел, как свёрток лежит, потом повернулся к Косте.

— Так же лежал, когда ты его нашёл?

— Так же. Только там пыль была сверху, много. Я её сдул. Дед велел всё как было положить.

— И что в нём, ты, конечно, посмотрел.

Костя покраснел до ушей.

— Посмотрел. Но я оттуда ни копейки не взял. Вот честное комсомольское. Я не вор.

Шерстнёв снял рукавицу, надел взятые с собой нитяные перчатки и вынул свёрток на свет. Шнурок он рассматривал дольше, чем содержимое. Это был кожаный плетёный шнурок темно-красного цвета с металлическим колечком на одном конце.

— Шнурок от свистка, — сказал к моему удивлению Костя. — У нас физрук с таким ходил, когда я тут был. Красный, и свисток жёлтый, с шариком.

— С таким ходит половина физруков и все вожатые Оренбургской области, — заметил Шерстнёв. — Их продают в спорттоварах по сорок копеек вместе со свистком. А вот узел интереснее. Посмотрите, доктор.

Я нагнулся. Узел был стянут туго и аккуратно: два оборота вокруг свёртка, петля, протащенная под оба оборота, и свободный конец, заложенный так, что достаточно было дёрнуть за него — и всё распустилось бы.

— Это мельничный узел, — сказал Шерстнёв. — Иначе его называют мешочным. Им завязывают мешки с мукой и крупой — держит крепко, а развязывается одним движением. Им не вяжут свистки на шею, и не вяжут его случайно. Его завязывает рука, которая завязывала его тысячу раз. — Он поднял глаза на старика. — Ефим Лукич, кто в лагере вяжет мешки?

Старик помолчал.

— Склад на завхозе, — сказал он наконец. — Ну и поварихи. И я, если честно, — я тоже в лесничестве семена в мешках возил. Так и вяжу.

— Это честно, — согласился Шерстнёв и потянул за свободный конец.

В клеёнке были деньги. Пачки сиреневых двадцатьпятирублёвок и розоватых десяток, каждая перетянута бумажной бандеролью. На бандеролях стоял фиолетовый штамп банка, дата «14.08.84» и закорючка кассира. От них пахло сырой землёй и мышами. Шерстнёв попросил меня пересчитать, не разрывая бандеролей, по числу пачек. Вышло семь тысяч четыреста. Двенадцати рублей мелочью, которые должны были лежать в сейфе отдельно, среди них не было.

— Двенадцать рублей он оставил себе, — сказал Шерстнёв. — На мелкие расходы. Их без бандероли никто не узнает. А вот трогать семь тысяч в банковских пачках он не решился. Лыткин прав: в маленьком городе с такими деньгами не спрячешься. Он спрятал их в ту же ночь, в самом лагере, потому что знал, что утром будут обыскивать всех и всё. И выбрал не склад и не директорский домик, а палату, в которой спали восемь пионеров. Вы помните, что сказал Лыткин? Детские чемоданы обыскивали так, чтобы дети не видели. А вскрывать полы в детских палатах, когда в лагере триста ребят и все смотрят, никому в голову не пришло. Потом смена разъехалась, а в сентябре лагерь закрыли на зиму. Он ждал, когда всё уляжется. И вот в январе приезжает проверить своё добро и видит над третьим корпусом дым. Из той самой трубы, что над его палатой. Представляете, что он почувствовал?

— Поэтому в среду он ходил вокруг всего корпуса, — сказал я, — а в пятницу — прямо к этому окну.

— В среду он выяснял, есть ли кто-нибудь внутри. И выяснил. — Шерстнёв кивнул на горн, сиявший на подоконнике. — Расскажи, Константин, зачем ты трубил отбой в три часа ночи?

Костя опустил глаза.

— Я проснулся — а он ставни дёргает. Одну, потом другую. И идёт к следующей. Скрип такой по снегу. Я думал — милиция. Потом понял, что милиция ночью не лазит. Ну и — к деду же не побежишь. Я на чердак залез, там слуховое окошко. А горн я ещё в первый день из клуба взял, просто так, почистил… Я ж в восьмидесятом тут горнистом был. Ну и затрубил.

Чтобы он думал, что тут народ. И чтобы дед проснулся. Отбой — потому что я его лучше всего помню. А на третий раз губы к мундштуку примёрзли.

Он дотронулся до верхней губы, и я только теперь разглядел на ней подживающую ссадину — след от содранной кожи. Кто хоть раз в детстве лизал на морозе железную трубу, тот знает.

— А в пятницу?

— В пятницу я не спал. Я теперь ночью вообще не сплю. Слышу — опять идёт. И прямо сюда. И железкой по замку — шкряб, шкряб. Я кочергу схватил и как дам по жести на печке! И заорал. У меня голос сейчас уже ломается, если низко орать, то как у мужика. Он и дал дёру.

Шерстнёв впервые за всё утро улыбнулся — коротко и не без уважения.

— Ты поступил смело и очень неразумно, — сказал он. — Теперь он знает точно: в корпусе кто-то живёт, и не призрак. Он не знает только, нашли ли деньги. И он должен это выяснить — иначе он не сможет спать. Человек, который полгода терпеливо ждал, теперь торопится. А люди, которые торопятся, делают глупости. Или что-нибудь похуже.

Он аккуратно завернул деньги в клеёнку, завязал шнурок тем же мельничным узлом — и положил свёрток обратно в подполье, в ту же лунку в сухой земле. Половица встала на место с тихим стуком.

— Они пролежали здесь пять месяцев, — сказал Шерстнёв, выпрямляясь и отряхивая колени. — Пролежат и ещё сутки. Нам нужны не деньги, доктор. Деньги нашлись. Нам нужен тот, кто за ними придёт. И нужен он именно тут, в этой палате, с этим свёртком в руках. Иначе все наши узлы и следы сорок пятого размера ничего не стоят: в таких ботинках ходит полгорода, а такие узлы вяжет даже Ефим Лукич. — Он повернулся к старику. — Скажите, из лесничества можно позвонить в город?

— Из конторы можно. Там сторожиха и в выходные сидит.

— Тогда завтра утром вы позвоните директору лагеря домой. И скажете ей вот что.

И он сказал, что именно. Костя слушал, приоткрыв рот. Ефим Лукич — нахмурившись. А я подумал, что ночь с воскресенья на понедельник нам предстоит провести в нетопленом корпусе, в тридцатиградусный мороз, и что шинель я надел не зря.

V. Директор лагеря

В город мы вернулись тем же днём, двухчасовым автобусом. Костя остался с дедом — но уже не в третьем корпусе, а в сторожке, на лежанке у печи, под охраной Дамки и одностволки. Третий корпус Шерстнёв велел оставить как есть: постель не убирать, печку не топить, на дверь повесить тот же амбарный замок.

— А если он придёт сегодня ночью? — спросил я в автобусе.

— Не придёт. В пятницу его напугали так, что он бежал по целине полтораметровыми шагами. Такой человек сначала сел думать. Кто там был? Как их много? Знают ли они про деньги? Ему нужен ответ, и ответ этот мы ему дадим завтра утром. Вместе с сроком: до понедельника. Человек, у которого есть срок, перестаёт думать и начинает действовать. А пока у нас есть вечер, и я хочу потратить его на начальство.

Начальство жило на Горького, в кирпичной пятиэтажке нефтяников, на третьем этаже. Адрес нам дал по телефону Лыткин, сопроводив это тяжёлым вздохом и советом не представляться милицией. Шерстнёв и не собирался. Дверь нам открыла высокая сухопарая женщина лет пятидесяти, с короткой стрижкой и недокуренной сигаретой в пальцах. Из глубины квартиры доносился голос телевизора — шла субботняя спортивная передача, и кто-то кричал в микрофон про хоккей.

Шерстнёв представился просто: учитель химии на пенсии, помогает старому знакомому разобраться в одной неприятной истории. Когда он назвал лагерь, лицо женщины сразу стало усталым и неприветливым.

— Если вы про деньги, то я всё уже рассказала семь раз, — сказала она. — Милиции, прокурору, парткому, профкому и ревизионной комиссии. У меня выговор с занесением, я полгода плачу в кассу из зарплаты, и мне до пенсии платить ещё три года. Что вам ещё рассказать?

— Ровно то же самое, — кротко сказал Шерстнёв. — В восьмой раз. Надеюсь, что в последний.

Она посмотрела на него долго и внимательно, как смотрят опытные директора лагерей на нового вожатого, и посторонилась.

На кухне, где пахло табаком и варёной свёклой, Нонна Аркадьевна Бельская села у окна, закурила новую сигарету от старой и рассказала в восьмой раз то, что мы уже знали от Лыткина. Банк, сейф, ключ в сумочке, таблетка на ночь, открытое окно. Рассказывала она сухо и точно, как доклад на партсобрании, и видно было, что слова эти давно стёрлись и перестали для неё что-либо значить. Шерстнёв слушал, не перебивая, и только раз попросил уточнить, в каком часу она приняла таблетку.

— В одиннадцать. Как всегда, после обхода корпусов.

— Всех корпусов?

— Всех, кроме третьего. Старший отряд в тот день ушёл в поход с ночёвкой, на Самару, на старицу. У нас традиция — в конце смены старших водим к костру, картошку пекут, песни поют. Корпус стоял пустой. А что?

— Ничего, — сказал Шерстнёв совершенно равнодушным голосом. Но я видел, как его палец один раз стукнул по краю стола. — А кто знал про этот поход?

— Да весь лагерь, — пожала она плечами. — План мероприятий на смену висит на стенде у столовой. Гусев их водил, кстати, с двумя вожатыми, но к полуночи вернулся — ну, вы знаете к кому. Рязанцев им вечером на РАФе картошку и ведро на стоянку завозил, а уж потом в город уехал. Плотников палатки со склада выдавал. Поварихи сухой паёк собирали. Все знали.

— Расскажите мне про этих людей, — попросил Шерстнёв. — Не то, что вы говорили в милиции. То, что вы о них думаете.

Она невесело усмехнулась и стряхнула пепел в блюдце.

— Гусев — шалопай и бабник, но дети за ним ходят толпой. Украсть он бы не смог. Не потому, что честный, а потому, что терпения нет: он бы на следующий день половину проиграл в карты, а вторую пропил в ресторане «Самара». Плотников… — она помедлила. — Плотников — хозяйственник. У него на складе каждый гвоздь на учёте. И списано каждый год больше, чем износилось. Вы меня понимаете. Но это другое. Матрас или ведро — это одно, а сейф — другое. У него трое детей и дом с садом, он на такое не пойдёт. Рязанцев — золотые руки. Шофёр с автобазы НГДУ, его нам на лето вместе с РАФом дают уже третий год. Молчаливый, непьющий, любую железку починит. В ту ночь его в лагере вообще не было, он в десять вечера уже машину в гараж ставил, на автобазе, у них там журнал и диспетчер. Сторож — старик, святой человек и глуховат на левое ухо. Вот вам и все мои думы. И полгода над ними думаю, и ничего не придумала.

— Ключи от корпусов сейчас у Плотникова?

— У него. Вся связка. Он раз в месяц ездит проверять, на «Буране». «Буран» наш, лагерный, с баланса НГДУ, зимой стоит на автобазе, в промзоне, за котельной. Рязанцев его и обслуживает. А почему вы спрашиваете про ключи?

— Потому что очень скоро кто-то из этих людей попросит их у него, — сказал Шерстнёв. — Или не попросит. Нонна Аркадьевна, завтра утром вам позвонят из Колтубановского лесничества. Сторож скажет вам, что мальчишки из посёлка забрались в третий корпус, топили печку и раскурочили полы на растопку. Что участковый их прогнал и что в понедельник утром он приедет снова составлять акт. Вскрывать полы, считать ущерб. И что нужен кто-нибудь с ключами. Я прошу вас не удивляться и поступить так, как вы поступили бы, если бы всё это было правдой. Кому вы позвоните?

Бельская положила сигарету на край блюдца и долго смотрела на Шерстнёва. Потом медленно, по слогам, сказала:

— Плотникову. У него ключи и склад. Он позвонит на автобазу, чтобы в понедельник дали машину — его и участкового везти. Раз полы — нужен плотник, это из жэка НГДУ. Потом профкому, в понедельник, конечно. А к понедельнику, — добавила она с неожиданной горечью, — уже весь наш коллектив будет знать, что у Бельской в лагере опять ЧП. У нас нефтяники сплетничают не хуже бабок на лавочке. Это вам и нужно, да?

— Именно это, — сказал Шерстнёв и поднялся. — И ещё одно, Нонна Аркадьевна. В понедельник вечером, если всё пойдёт так, как я думаю, к вам придёт капитан Лыткин. Я не стану ничего обещать, но вам, возможно, стоит придержать для него этот ваш выговор с занесением.

Она ничего не ответила. Только когда мы уже спускались по лестнице, наверху так и не хлопнула дверь — она стояла на пороге и смотрела нам вслед, и сигарета у неё в пальцах дрожала.

На улице уже стемнело. Фонари на Горького горели через один, снег под ногами звенел, как стекло. Шерстнёв шёл быстро, подняв воротник, и я едва поспевал за ним.

— Старший отряд был в походе, — сказал я. — Третий корпус стоял пустой. Вот почему он не боялся разбудить детей.

— И вот почему милиция не стала вскрывать там полы, — кивнул Шерстнёв. — К девяти утра, когда приехал Лыткин, отряд уже вернулся и спал в палатах после бессонной ночи у костра. Кто же будет поднимать пол под спящими пятнадцатилетними? А теперь спросите себя, доктор, кто из троих наших знакомых своими руками помогал в тот вечер отправлять отряд в поход.

— Все трое, — сказал я, подумав.

— Все трое, — согласился он с некоторой досадой. — Вот в том-то и беда. Завтра у нас с вами визиты, а вечером — последний автобус в Колтубановский. Выспитесь сегодня, доктор. Следующая ночь будет длинной.

VI. Воскресенье

Воскресенье началось для меня с мысли о том, что в эту минуту старый лесник, неловко держа трубку левой рукой, врёт по телефону из конторы лесничества, и что врать он не умеет. Шерстнёв на мои опасения только пожал плечами.

— Ему не нужно врать, — сказал он. — Ему нужно сказать правду: в третьем корпусе кто-то жил, топил печку и выдрал половицу. И что в понедельник будут смотреть. Всё это правда. В понедельник утром там действительно будет милиция, только не Хабибуллин.

В десять часов мы стояли у двери общежития для молодых специалистов во втором микрорайоне. Валерий Гусев открыл нам в тренировочных штанах с лампасами и в майке, небритый, с лицом человека, не выспавшегося после субботнего вечера. Это был красивый парень с фигурой легкоатлета, которую он, похоже, начинал понемногу терять, и с синеватым рубцом на скуле — наследство той самой сентябрьской лестницы. Услышав про лагерь, он рассмеялся неприятным смехом.

— Снова-здорово! Семь тысяч нашлись? Нет? Так и знал. Проходите, что уж теперь. Всё равно у меня репутация испорчена дальше некуда.

В его комнате царил тот сорт беспорядка, который бывает у холостяков с нерегулярными доходами: в углу гантели, на стуле гора рубашек, на столе колода карт и коробка из-под торта с окурками. Шерстнёв задал всего три вопроса, и все три — про свисток.

— Свисток? — Гусев удивлённо моргнул и кивнул на гвоздь у двери, где на красном плетёном шнурке висел жёлтый пластмассовый свисток. — Вон он. А что свисток? Тот самый, летний. Хотя нет, стойте. Шнурок другой. Свой я в августе потерял, прямо перед концом смены. Повесил свисток на кровать в комнате для персонала, утром встаю — свисток на месте, а шнурка нет. Думал, пацаны из старшего отряда стянули — они из таких брелоки плетут. Неделю на батинке отходил, как дурак.

— Когда именно пропал шнурок?

— Да не помню уже. Дня за два-три до этого… до всего. А что?

— Кто ещё жил в комнате для персонала?

— Да кто там жил… Я да музрук. Плотников иногда ночевал, когда домой лень было ехать. Рязанцев там тоже свою койку имел, днём спал после рейса. Да туда все заходили — чай пить, в домино играть. Поварихи и те заходили. А при чём тут шнурок, может скажете?

— Может быть, скажу, — ответил Шерстнёв, уже вставая. — В среду. И на вашем месте, Валерий, я бы придержал до среды репутацию, какая есть. Возможно, она ещё поправится.

Гусев проводил нас до двери недоуменным взглядом.

— Шнурок исчез за два-три дня до кражи, — сказал я на лестнице. — Значит, вор заранее готовил, на кого свалить, если свёрток найдут.

— Или сам Гусев сочинил историю про пропажу сейчас, за минуту, сообразив по нашим вопросам, куда дует ветер, — спокойно заметил Шерстнёв. — Но не думаю. Для этого нужна быстрота ума, а он сегодня с трудом вспоминает, где у него чайник. И на ногах у него кеды сорок первого размера, вы заметили? А в галошнице — ни одной пары зимних ботинок, только фетровые «прощай, молодость» на молнии. Учителям физкультуры в НГДУ спецобувь не выдают.

Тимофей Ильич Плотников жил в собственном доме на Кирова, за высоким тёсовым забором, над которым торчали голые ветки яблонь. На наш стук сначала отозвалась цепная собака, потом старший сын — парень лет четырнадцати в отцовском ватнике, — и только потом сам хозяин. Это был коренастый, тяжёлый мужчина с красным лицом и маленькими серыми глазами, которые сразу обшарили нас с головы до ног. На ногах у него, как я сразу заметил, были тяжёлые чёрные утеплённые ботинки на толстой подошве, такие, в каких ходит

половина нефтяников, и размера они были немалого. Я посмотрел на Шерстнёва. Он смотрел на яблони.

— Знаю, зачем пришли, — сказал Плотников, не приглашая нас в дом. — Мне Усатая уже в десять часов позвонила. — Усатой в лагере, как выяснилось, с давних пор звали директора, и вовсе не за усы. — Опять, значит, милиция, акты, опять полы вскрывать. Пацаны посёлковые побаловались, а Тимофей Ильич едь в лес в тридцать градусов. Вы из профкома?

— Мы частные лица, — сказал Шерстнёв. — И не задержим вас. Меня интересует одно: когда вы последний раз ездили в лагерь на «Буране»?

Маленькие глаза сузились ещё больше.

— В декабре. Перед Новым годом, двадцать второго числа, как сейчас помню. Проверил, замки на месте, сторож на месте. А в январе ещё не ездил — морозы. А вам что за дело?

— А кто ещё может на нём ездить?

— Да никто. Он на автобазе под замком стоит, в боксе, за котельной. Ключ у диспетчера и у бокса свой. У меня да у Рязанцева — он его к зиме настраивает. Да вы к чему водите-то?

— Рязанцеву вы сегодня звонили?

— Звонил. Как от Усатой трубку положил, так и позвонил, чтобы в понедельник в семь часов «уазик» был готов, в лагерь ехать. Он же с автобазы, ему и везти. А теперь, товарищи частные лица, извиняйте, у меня выходной.

Калитка захлопнулась. Собака на цепи долаяла нам вслед то, чего не договорил хозяин. А я за те несколько секунд, пока калитка стояла настежь, успел разглядеть в глубине двора распахнутый сарай, а в нём — аккуратно сложенную до потолка стопу полосатых матрасов. На боку верхнего чёрной краской был выведен инвентарный номер и две буквы: «ЛС».

— «Лесная сказка», — сказал я, когда мы отошли. — Матрасы. Десятка два, если не больше. И ботинки сорок пятого размера. И узлы на мешках он вяжет каждый день. И ключи у него. И «Буран». И в той самой комнате для персонала он ночевал. Вениамин Аркадьевич, да чего же вам ещё?

— Совсем немного, — сказал он. — Чтобы он пришёл сегодня ночью в третий корпус. Или чтобы не пришёл. Доктор, человек, который каждый год списывает матрасы и вёдра, сегодня получил известие, что из лагерной кладовой пропали одеяла и что завтра милиция будет писать акт. Вы видели его лицо. Ему есть чего бояться и без семи тысяч. Вот только боится он складской ревизии, а не вскрытых полов в третьем корпусе. А ещё он сказал нам одну вещь, над которой вам стоит подумать по дороге. В январе он на «Буране» не ездил. Морозы.

— Соврал.

— Или не соврал. В понедельник Лыткин проверит путевые листы и журнал диспетчера. А сегодня ночью мы увидим всё сами.

Лыткин забрал нас в шесть вечера у дома на Отакара Яроша на служебном «уазике», вместе с молчаливым сержантом по фамилии Дудкин, который всю дорогу сосредоточенно грыз семечки и сплёвывал шелуху в кулак. Клавдия Степановна снабдила нас двумя термосами, свёртком пирожков с картошкой и старым овчинным тулупом покойного мужа, который Шерстнёв принял с таким видом, будто ему вручали орден.

План был прост. Лыткин с Дудкиным оставались в машине на лесной дороге, в километре от лагеря, там, где вчера мы видели след «Бурана», уходивший в бор. Ефим Лукич с Костей и Дамкой сидели в сторожке и в десять часов, как обычно, гасили свет. Одностволку Шерстнёв велел разрядить и поставить в угол. А мы двое — в третий корпус.

Мы вошли туда в половине девятого, в полной темноте, по старой тропе за складом. Печка не топилась уже сутки, и в палате стоял настоящий склепной холод — дыхание сразу оседало инеем на воротнике. Шерстнёв устроился за печкой, в узком промежутке между её жестяным боком и стеной, закутавшись в тулуп так, что из него торчал только кончик носа. Я — за дверью, в углу, на перевёрнутом ящике из-под стеклотары. У каждого из нас был фонарь.

И у каждого — строгий наказ не включать его, пока тот, кто придёт, не опустится на колени у печки и не возьмёт свёрток в руки.

— А если он вообще не придёт? — шёпотом спросил я в темноту.

Из-за печки отозвались не сразу.

— Тогда в понедельник мы сдадим Лыткину семь тысяч и шнурок от свистка, и он до лета будет выбирать между тремя людьми, каждый из которых мог. Но он придёт, доктор. На пол в детской палате он поставил всё, что у него было. И сидите тихо. В таком морозе звук слышен за километр.

И мы сидели тихо. Старый деревянный корпус потрескивал на морозе, как корабль. Где-то над головой, на чердаке, возилась мышь. А в щель ставня видна была одна-единственная звезда, яркая и неподвижная, и я смотрел на неё так долго, что перестал чувствовать пальцы на ногах.

VII. Ночь в палате № 4

Холод — странная вещь. Первый час он просто неприятен. На второй ты начинаешь думать только о нём. А на третий он становится чем-то вроде собеседника, с которым ведёшь длинный неслышный спор. Я сидел на своём ящике, шевелил пальцами в сапогах, как учили в училище, и вспоминал февральскую ночь под Баграмом, когда мы ждали вертолёт с ранеными, а он всё не летел. Там тоже была такая звезда — одна, яркая, равнодушная.

Шерстнёв за печкой не шевелился. Иногда мне казалось, что он заснул, и я уже собирался окликнуть его, как вдруг слышал тихий, почти невнятный мотив — он напевал себе под нос что-то из своих баянных песен. Один раз, часов в одиннадцать, он сказал в темноту:

— Налейте себе чаю, доктор. На ощупь. Раньше часа ночи он не придёт. Человек, у которого в августе хватило терпения дождаться, пока директор примет снотворное, дождётся и сегодня, пока сторож уснёт.

Чай из термоса был чуть тёплым и казался волшебным. Пирожок с картошкой замёрз в свёртке и хрустел на зубах, как сухарь.

В начале второго, когда я уже перестал считать минуты, далеко в бору запел мотор. Тонко, прерывисто, как комар, — и стал приближаться. Из-за печки послышалось шуршание тулупа. Мотор гудел минуты три, то стихая, то нарастая, а потом оборвался разом — и тишина стала ещё глуше, чем была.

— Со стороны дороги, — едва слышно сказал Шерстнёв. — Как раз там, где ждёт Лыткин. Ну что же… Дождёмся.

Мы дождались. Но совсем не того, чего ждали.

Минут через десять после того, как затих мотор, снаружи скрипнул снег. Не со стороны аллеи и не со стороны бора, откуда его можно было ждать, а с торца — со стороны обрыва. Шаги были тяжёлые и неровные, как у человека, который долго шёл по глубокому снегу и выбился из сил. Потом стихли. Потом заскрипели вдоль стены — к крыльцу.

И на крыльце звякнул металл.

Я не сразу понял, что это за звук, а когда понял, у меня по спине пробежал холод, уже никак не связанный с морозом. В амбарном замке поворачивался ключ. Сначала неуверенно, с пробами — один ключ не подошёл, звякнула связка, попробовали другой, третий. На четвёртом замок сухо щёлкнул.

У него была связка ключей от корпусов. Вся связка. И вся связка, как мы знали, была только у одного человека.

Дверь отворилась медленно, и в коридор вполз морозный воздух и слабый жёлтый кружок света: фонарь был прикрыт ладонью, и свет проскальзывал только сквозь пальцы, розовый и неверный. Человек постоял на пороге, прислушиваясь. Я слышал его дыхание — частое, с хрипом, дыхание человека, который только что поднялся по крутому склону. Потом он пошёл по коридору, не останавливаясь у других дверей, прямо к нашей. Он знал, куда идёт.

В палату он вошёл так близко от меня, что я мог бы дотронуться до него. В тусклом свете фонаря я разглядел только тёмную спину в ватнике, лыжную шапочку, натянутую до бровей, и замотанный до глаз шарф. Он поставил фонарь на пол, лучом к печке, опустился на колени, и я увидел в его руке короткую монтировку. Он не искал. Он поддел именно ту половицу, снял её, отложил и сунул руку в подполье.

Я слышал, как он выдохнул. Длинно, со стоном — как человек, который пять месяцев не дышал.

И тогда из-за печки в лицо ему ударил белый луч.

— Добрый вечер, — сказал Шерстнёв. — Вернее, доброй ночи. Положите, пожалуйста, свёрток на пол. И монтировку тоже.

Дальше всё случилось так быстро, что я потом долго не мог восстановить порядок. Человек не стал ни кричать, ни спрашивать. Он просто накрыл ногой свой фонарь, и стало темнее, а в следующую секунду что-то тяжёлое с грохом врезалось в жестяной бок печки — туда, где миг назад был луч Шерстнёва. Луч дёрнулся и погас. Я вскочил, включил свой фонарь и увидел прямо перед собой шарф, глаза над ним и вскинутую руку. Удар пришёлся по левому плечу — тому самому, с осколком, — и рука отнялась. Фонарь покатился по полу. Успел я только одно: когда он рванулся мимо меня в дверь, выставить ногу — то, чему в училище учил нас старшина Панасюк. Он рухнул в коридор, свёрток вылетел из его рук и шлёпнулся о стену. Но он вскочил сразу, как кошка, не стал поднимать ни деньги, ни монтировку — и вылетел на крыльцо.

— Вениамин Аркадьевич!

— Цел! — из темноты за печкой. — Фонарь разбил, а не меня. За ним, доктор! Только не к бору — он побежит к реке! Он пришёл по реке!

Я выскочил на крыльцо. Луна взошла, пока мы сидели, и снег вокруг корпуса светился синеватым светом. Тёмная фигура бежала не к соснам и не к аллее — к обрыву, по своим же следам. У самого края она на секунду присела и исчезла — соскользнула вниз по склону, как с детской горки. Я побежал следом, держа левую руку правой, и с края увидел всё сразу.

Внизу, на белом льду Самары, лежали лыжи — две длинные тёмные полоски. От них вверх по склону вёл испаханный след. Человек докатился до льда, вскочил, схватил лыжи и не стал даже их надевать — бросился бегом напрямик, через реку, к темневшему на том берегу тальнику. Напрямик — к чёрному пятну посередине, которое я видел с обрыва ещё в субботу днём. На перекате Самара не замерзает даже в крещенские морозы, и всякий посёлковый мальчишка это знает. Но человек был не посёлковый, да и луна светила ему в спину.

— Стой! — заорал я. — Стой, дурак! Промоина!

Он, может быть, и услышал. Но лёд услышал раньше. До меня донёсся короткий тупой треск, словно кто-то сломал о колено сухую доску. Тёмная фигура взмахнула руками, лыжи полетели в стороны — и человек по пояс ушёл в чёрную воду.

Я не помню, как съехал с обрыва. Помню, что уже внизу стащил с себя шинель — одной рукой, зубами помогая, — потому что в шинели ползти нельзя. Помню, как лёг на лёд и пополз на животе, раскинув ноги, толкая перед собой подобранную лыжу. Человек в промоине цеплялся за край льда, а край обламывался под его пальцами, как сахар. Течение тянуло его под лёд. Шарф сполз с его лица, и в лунном свете оно было белым и совершенно детским от ужаса.

— Лыжу бери! Руками бери, двумя!

Он схватил. Я потянул — и понял, что одной рукой не вытащу. Мокрая вата весит как свинец. И тут за моими ногами что-то заскрежетало, и чей-то голос, сорванный и сердитый, сказал:

— Держитесь, доктор. Теперь тяните.

Шерстнёв лежал на льду позади меня и держал меня за сапоги. А за ним, уже на берегу, махая руками и проваливаясь в сугробах, бежали старый лесник с верёвкой и Костя — в одних валенках и майке, с горящей керосиновой лампой в руке. Дамка неслась впереди всех и заливалась лаем на весь бор.

Втроём, с верёвкой и лыжей, мы вытащили его на крепкий лёд. Он лежал на спине, и ватник на нём прямо на глазах становился колом. Зубы у него стучали так, что это было слышно сквозь лай Дамки. Костя поднёс лампу к его лицу, и мы все его увидели.

Это был не Плотников.

Это был худощавый светловолосый мужчина лет тридцати пяти, с ввалившимися щеками и светлыми, почти белыми ресницами, на которых уже застывали капли.

— Рязанцев, — выдохнул старик. — Колька Рязанцев. Шофёр. Ты?..

А сверху, с обрыва, из темноты, послышался сиплый окрик Лыткина, и в лунном свете над краем показались три фигуры. Капитан, сержант Дудкин — и между ними, держа руки за спиной, коренастый тяжёлый человек в меховой шапке. Тимофей Ильич Плотников.

VIII. Мешочный узел

В сторожке было жарко, как в бане. Ефим Лукич набил печь дровами до самой дверцы, и чугунная плита светилась тёмно-вишнёвым пятном. Рязанцева мы раздели догола, растёрли сухим полотенцем, закутали в два лагерных одеяла и дедов полушубок и усадили на лежанку у печи. Пальцы на руках у него были белые и не сгибались, и я долго держал их в тазу с чуть тёплой водой, пока они не порозовели и не заболели — и тогда он впервые за всё время застонал. Моё плечо тоже давало о себе знать, но кость, похоже, была цела. Костя, уже одетый, сидел в углу и не сводил с Рязанцева глаз.

Плотников сидел на табурете у двери, под присмотром Дудкина, и вид у него был такой, будто он не может решить, что ему делать — ли правдаться, ли каяться, ли радоваться. Его историю Лыткин рассказал нам в двух словах, стоя спиной к печке и выражая лицом то крайнее отвращение, какое у него вызывали бессонные ночи и глупость.

В час сорок по лесной дороге к лагерю приполз «Буран», тащивший за собой самодельные сани-волокушу. На санях, перетянутые верёвкой, лежали четырнадцать полосатых матрасов с меткой «ЛС», десять серых ватных одеял и два алюминиевых бака из столовой. Завхоз, получивший известие об утреннем акте, вез на склад всё, что за несколько лет «износилось» до его сарая и ещё не успело уйти на дачи. Он собирался потихоньку разложить всё по полкам, чтобы к семи утра склад сиял, как к сдаче лагеря в июне.

— С матрасами теперь пусть Соколов из ОБХСС разбирается, — сказал Лыткин. — Это его любимая арифметика. А вот ключи, Тимофей Ильич, расскажите-ка ещё раз для всех.

— Да что рассказывать, — глухо сказал Плотников. — Я в обед на базу за «Бураном» заехал. А связку оставил диспетчеру, для Кольки. Чтобы он утром с участковым прямо с базы ехал, а я сам тут уже буду, с ночи. А у себя оставил только ключ от склада… Хотел как лучше.

— Вот так ключи и попали в руки к нужному человеку в нужную ночь, — сказал Шерстнёв. Он сидел у стола, над развернутой клеёнкой с вишнями, и свет керосиновой лампы ложился на банковские бандероли с фиолетовым штампом. — Самое смешное, Пётр Васильевич, что нас чуть не переиграл человек, который воровал матрасы. Всё указывало на него. Ботинки, узел, ключи, «Буран», комната для персонала. И всё это в точности подходило и к другому человеку — к тому, кто чинил этот самый «Буран», носил те же казённые ботинки, спал в той же комнате. Кроме одного — узла. И тут мне не хватало одной строчки в биографии. Скажите, Николай, где вы работали, прежде чем сесть за баранку?

Рязанцев долго молчал, глядя в огонь сквозь щель печной дверцы. Потом сказал сипло, не поднимая глаз:

— На мелькомбинате. Грузчиком. Семь лет.

— Семь лет по ста мешков в смену, — сказал Шерстнёв без всякого торжества. — И каждый завязан мельничным узлом. Рука помнит то, что голова давно забыла. Вы очень предусмотрительно украли шнурок у Гусева, чтобы в случае чего искали физрука. И завязали этот шнурок так, как физруки не вяжут.

И тогда Рязанцев заговорил. Не потому, по-моему, что понял, что запираться бессмысленно, — а потому, что человек, которого только что вытащили из-подо льда, словно насильно возвращён в жизнь, и у него вдруг не остаётся сил для вранья. Такое я видел в госпитале не один раз.

Рассказ его был коротким и некрасивым, как и большинство настоящих историй. Позапрошлой весной от него ушла жена, забрав дочь и квартиру. Он очутился в общежитии автобазы, с алиментами и соседом-алкоголиком. Хотел уехать на Север, в Нижневартовск, где у него служил друг, — но ехать туда с пустыми руками стыдился. А в августе он вёз Бельскую из банка и всю дорогу чувствовал на сиденье рядом себя её сумку.

О снотворном он знал от медсестры: он сам возил её за ним в аптеку. О походе старшего отряда — из плана на стенде. Шнурок он снял с гусевского свистка за три дня, когда тот спал после ночной игры. Вечером четырнадцатого он отвёз картошку на стоянку старшего отряда, в десять сдал РАФ диспетчеру на автобазе и расписался в журнале. А в одиннадцать уже ехал обратно на своём старом «ИЖе», без фары, по лесным дорогам, которые знал как свои пять пальцев.

— Я не собирался прятать, — сказал он, впервые подняв глаза. — Я собирался забрать и уехать. А когда вылез из окна с деньгами, то понял: утром всех будут трясти. И меня. И комнату мою в общаге, и мотоцикл. Дед вон — он кивнул на Ефима Лукича, — с фонарём как раз к воротам шёл, в полночь. Я за корпусом переждал. А третий корпус — пустой, форточка в четвёртой палате открыта, и ставни не закрыты. Я залез, посветил спичкой. Половица у печки скрипит, я её ещё в июне заметил, когда кровати таскали… Думал: пусть лежат. Зимой никого. Приеду на «Буране», ставень отогну, заберу — и на Север, никто и спрашивать не станет, полгода прошло.

— А в январе увидели дым, — сказал Шерстнёв.

— Увидел. Вторника ждал, чтоб мороз послабже, ночью взял «Буран» из бокса, диспетчер спит, ему без разницы. Доезжаю — а над третьим труба дымит. Над моей палатой, понимаете? Я чуть с ума не сошёл. Ходил вокруг, ставни дёргал, думал — посёлковые лазят. А потом как затрубит… — Он судорожно сглотнул. — Я три года на этом лагере ездил… Я этот отбой каждый вечер слышал. Верите — волосы дыбом. Отбой, в пустом лагере, в три часа ночи.

Костя в углу что-то невнятно хмыкнул и тут же смутился.

— А в пятницу меня кто-то изнутри как гаркнет… Я понял: там человек. Взрослый мужик. Про деньги знает или нет — непонятно. А сегодня Плотников звонит: завтра милиция, акт, полы поднимать будут. И сам «Буран» забирает, и ключи мне оставляет. Я последним автобусом до Боровки, оттуда на лыжах по реке. Думал, по реке никто не увидит. Сорок минут обратно — и на утренний поезд до Куйбышева…

Он замолчал. В тишине было слышно, как потрескивают дрова и как вздыхает под столом Дамка.

— Вам повезло, — сказал Шерстнёв после долгой паузы. — Вам даже не представляете, насколько. Если бы две недели назад один шестнадцатилетний парень не заступился за мать и не сбежал в лес к деду, вы бы в феврале забрали свои семь тысяч и уехали в Нижневартовск. И жили бы там до конца дней с человеком, которого не выносите. А на Гусеве до конца жизни висели бы чужие деньги, а на Бельской — чужой долг. А так вас вытащили из промоины четыре человека, и один из них — тот самый парень, от чьего голоса у вас в пятницу волосы встали дыбом. Подумайте об этом когда-нибудь. Времени для раздумий у вас теперь будет достаточно.

Рязанцев повернул голову и посмотрел на Костю. Костя смотрел на него. И вдруг — я до сих пор не знаю, почему, — мальчишка встал, взял со стола алюминиевую кружку, налил в неё горячего чая из чайника и поставил на лежанку рядом с человеком, который час назад махал монтировкой в темноте.

— Пейте, — сказал он хмуро. — С мёдом. Дед всегда после мороза с мёдом даёт.

Рязанцев не смог взять кружку негнущимися пальцами. И тогда Костя, сопя и отворачиваясь, поднёс её к его губам сам.

Лыткин долго смотрел на это, потом кашлянул, достал из планшета бланк протокола и сел к столу, отодвинув клеёнку с деньгами.

— Вот что, Мельников Константин Анатольевич, — сказал он, не оборачиваясь. — С тобой мы поговорим утром. В городе. А пока садись-ка рядом и рассказывай, как ты нашёл эту половицу. Подробно. Теперь ты, брат, свидетель. Главный.

IX. Заявление

В город мы вернулись на рассвете, в двух машинах. В «уазике» Лыткина ехали Рязанцев, закутанный в одеяла, с руками в бинтах, мрачный Плотников и Дудкин с клеёнчатым свёртком на коленях, который он держал обеими руками, как ребёнка. За ними на лесническом «газике», который Ефим Лукич выпросил у старого своего товарища-заместителя, ехали мы: старик, Костя, Шерстнёв и я с рукой на перевязи — теперь уже мы с Ефимом Лукичом были парой, что дало ему повод для первой за все дни усмешки. Костя спал, привалившись к плечу деда, с открытым ртом, как спят только в детстве, и на каждой выбоине стукался лбом о стекло, но так и не проснулся.

Зинаида Ефимовна Мельникова прибежала в горотдел в половине девятого — Лыткин послал за ней на молокозавод машину. Худенькая, в белом рабочем халате под расстёгнутым пальто и в косынке, придерживавшей волосы, она остановилась в дверях кабинета и смотрела на сына несколько секунд, не дыша, будто не верила, что он настоящий. Потом сделала два шага и ударила его по щеке — слабо, неловко, той рукой, в которой сжимала перчатки. И тут же схватила его за шею, притянула к себе и завыла в голос — по-деревенски, не стесняясь ни нас, ни горотдела, ни портрета на стене.

Костя стоял с опущенными руками, смотрел в потолок и изо всех сил пытался не заплакать сам. Потом всё-таки поднял руки и обнял мать.

— А ты, — сказала она наконец, оборачиваясь к отцу, — а ты, папа… Я же тебе звонила. Ты же мне в трубку говорил: не видел. Я же две недели…

— Я же ему слово дал, Зина, — глухо сказал Ефим Лукич и опустил голову. — Он сказал: скажешь мамке — она Генке скажет, а Генка милиции. И уйду в лес, сказал, и не найдёте. Что мне было делать?

Зинаида Ефимовна ничего не ответила. Только притянула к себе за рукав полушубка и отца тоже, и так они и стояли втроём посреди кабинета, пока Лыткин, отвернувшись к окну, старательно набивал трубку, которую не закуривал уже три года по настоянию жены.

Отчим пришёл в десять. Его тоже вызвал Лыткин — с автобазы, куда тот только что вернулся после больничного. Я ожидал увидеть краснорожего здоровяка с кулаками, а вошёл невысокий сутуловатый мужчина лет сорока, с помятым лицом и жёлтым пятном старого синяка у виска, в масляной телогрейке и в тех самых чёрных утеплённых ботинках, в каких ходит половина города. Увидев Костю, он остановился на пороге, и на лице его мелькнуло что-то такое, чего я не ожидал, — не злость, а облегчение. Но оно тут же спряталось.

— Нашёлся, значит, — сказал он в пространство. — Ну-ну.

Лыткин велел всем, кроме Сычёва и Шерстнёва, выйти в коридор. Зинаида Ефимовна не хотела уходить, и её почти вывел под руку старик. Я вышел последним и поневоле слышал начало разговора, прежде чем дверь закрылась. Остальное мне пересказал вечером Шерстнёв — неохотно и с пропусками, как всегда, когда дело касалось не улик, а людей.

Лыткин не стал уговаривать. Он просто положил на стол перед Сычёвым две папки. В одной лежало его заявление, написанное в больнице неровным почерком человека с сотрясением и обидой. В другой — три рапорта участкового из первого микрорайона за последние два года: соседи из дома четырнадцать жаловались на шум, крики и драки в квартире Сычёвых, и все три раза хозяин был пьян. Была там и справка из травмпункта на имя Мельниковой З. Е., датированная прошлым мартом. От заявления она тогда отказалась — как и все прошлые разы.

— Вот это — твоё, — сказал Лыткин, постучав по первой папке. — А вот это — тоже твоё. И вот что я тебе скажу, Геннадий. Если первая папка пойдёт в дело, пойдёт и вторая. Парень заступался за мать — это суд тоже услышит. И соседей услышит. И коллектив твой автобазовский про это услышит — им и так сегодня есть что обсуждать, с Рязанцевым-то. А

ещё парень этот, между прочим, сегодня ночью вашего же шофёра из промоины тащил. И семь тысяч нефтяникам нашёл. Так что ты подумай. Хорошенько подумай.

Сычёв долго смотрел на справку из травмпункта. Потом спросил, не поднимая глаз:

— Рязанцев? Колька? Из промоины?

— Он. Парень твой с дедом и два вот этих товарищей. В тридцать градусов, ночью. В одной майке выбежал, с лампой.

Сычёв помолчал. Потом сказал странную вещь, которую Шерстнёв передал мне слово в слово:

— Я его с семи лет растил. На рыбалку водил. А он меня за все девять лет ни разу папой не назвал. Дядя Гена. Дядя Гена, и всё.

— А ты заслужил? — спросил Лыткин. Не зло спросил. Просто спросил.

Сычёв не ответил. Он взял со стола ручку, потянул к себе чистый лист бумаги и под диктовку Лыткина написал, что претензий к Мельникову К. А. не имеет, что травму получил в состоянии алкогольного опьянения, упав по собственной неосторожности, и просит своё прежнее заявление считать недействительным. Поставил дату. Расписался. И ушёл, не глядя ни на кого в коридоре — ни на жену, ни на тестя, ни на Костю. Только у самой лестницы притормозил, словно хотел обернуться, и не обернулся.

Потом Лыткин ещё долго и с наслаждением ругал Ефима Лукича — за то, что соврал участковому, за то, что полёз ночью с ружьём по сугробам, за то, что держал внука в нетопленом корпусе на сгущёнке, и за лагерные одеяла, которые придётся списывать. Старик кивал и соглашался со всем. И на лице у него было такое выражение, с каким, наверное, старые лесники слушают дождь после засушливого лета.

Вечером, когда мы сидели у себя на Отакара Яроша и Клавдия Степановна в третий раз перевязывала мне плечо, причитая, что доктора сами себя лечить не умеют, я спросил Шерстнёва, что теперь будет с Костей.

— С Костей — ничего, — сказал он. — Завтра пойдёт в своё училище, и там его отругают за прогулы. А вот с Зинаидой Ефимовной — не знаю. Вы видели, как она смотрела на мужа в коридоре?

— Нет. Я смотрел на Костю.

— А я — на неё. Она смотрела на него так, как смотрят на человека, которого увидели впервые. Девять лет смотрела на него и не видела, а тут увидела — из-за спины сына. Думаю, что через месяц в загсе появится ещё одно заявление. А впрочем, — он взял баян, — это уже не по нашей части, доктор. Улик тут нет. Тут только люди.

И он долго играл в тот вечер — старые вальсы, один за другим, а за окном стоял стеклянный мороз, и фонарь напротив горел ровно, не мигая.

X. Отбой

Остаётся рассказать немногое, и как раз это немногое я люблю в наших историях больше всего. Раскрытое дело — это всегда немного как выписка из больницы: диагноз поставлен, лечение проведено, а что там дальше с человеком — врачу уже не видно. А мне всегда хотелось знать.

Рязанцева судили в апреле. Деньги были нефтяные, государственные, и сумма была крупная, так что никакого снисхождения не вышло, хотя деньги вернулись в кассу все до рубля, за вычетом тех самых двенадцати, прожиганных на бензин для «ИЖа». Лыткин рассказывал, что на суде Рязанцев ни от чего не отпирался и держался странно спокойно, словно человек, который долго тащил на спине мешок и наконец сбросил его. Пальцы на обеих руках у него, к счастью, уцелели. Я проверял.

Плотникову повезло больше. Майор Соколов из ОБХСС, который провёл на складе «Лесной сказки» три счастливейших дня своей жизни, насчитал за одиннадцать лет списаний столько матрасов, что ими можно было бы застелить всю Отакара Яроша в два слоя. Но то из украденного, что ещё не ушло на чужие дачи, завхоз сам привёз назад на санях, остальное возместил деньгами, да и трое детей сослужили свою службу. Из лагеря его уволили, а суд ограничился условным сроком. Говорят, теперь он работает кладовщиком на овощной базе и всё так же вяжет на мешках мельничные узлы, только каждый мешок теперь пересчитывает дважды.

Нонне Аркадьевне Бельской сняли выговор, а удержанное из зарплаты по решению профкома вернули. Капитан Лыткин, как и обещал Шерстнёв, сам заехал к ней на Горького и рассказал всё подробно. По его словам, она выслушала его, не перебивая, затушила сигарету, положила пачку в мусорное ведро и сказала, что сорок лет собиралась бросить и всё не было повода. Бросила ли — не знаю. Но если бросила, то, полагаю, это была не самая странная награда за раскрытое преступление.

Валерий Гусев пришёл к нам сам, в середине февраля, с бутылкой армянского коньяка, которую Шерстнёв принять отказался, а Клавдия Степановна снова приняла «для компрессов». Он долго сидел у нас на кухне, крутил в пальцах свой жёлтый свисток и рассказывал, как полгода его сторонились в учительской и как в сентябре те самые люди с вокзала били его не столько за долг, сколько за то, что он «семь тысяч взял, а делиться не хочет». Уходя, он сказал, что в карты больше не играет. Шерстнёв вежливо кивнул, а когда дверь закрылась, заметил, что ставит десять к одному на май. Учитель химии на пенсии ошибся: до мая Гусев не сорвался. А в апреле он взял секцию лёгкой атлетики в ГПТУ нефтяников, и первым, кто туда записался, был скуластый парень с чёлкой до бровей.

Зинаида Ефимовна подала на развод в марте. Шерстнёв ошибся и тут — на две недели. Комнату в общежитии молокозавода ей дали только к маю, и до мая она с сыном жила у сестры в третьем микрорайоне, в тесноте и не в обиде. Сычёв, говорят, пить не бросил, но и скандалов не устраивал. Однажды в апреле он подкараулил Костю у училища и отдал ему его старые рыбацкие снасти — спиннинг, две удочки и ящик с блёснами. Ничего при этом не сказал. Костя тоже ничего не сказал. Но снасти взял.

А в субботу восьмого июня мы с Шерстнёвым снова ехали в Колтубановский, тем же самым пазиком и, кажется, с тем же самым водителем, только теперь он был в кепке и на всех остановках распахивал двери настежь. Ефим Лукич прислал нам письмо — крупными неровными буквами, на листе из ученической тетради, с одной-единственной фразой и подписью: «Приезжайте на открытие смены, всем лагерем ждём. Завьялов».

Бор был неузнаваем. Там, где в январе стояла звенящая тишина, теперь стрекотали кузнечики, над дорогой висела жёлтая сосновая пыльца, и пахло смолой так, что кружилась голова. Зелёные ворота лагеря были свежепокрашены, надпись «Лесная сказка» сияла новой красной

краской, а у гипсового горниста на аллее кто-то заботливо подкрасил отбитый нос. По всему лагерю носились дети в белых рубашках, и над всем этим стоял тот ровный гул, какой бывает только над тремястами счастливыми людьми на первом дне каникул.

Ефим Лукич встретил нас у сторожки в чистой рубахе и с правой рукой, которая снова гнулась во всех суставах, — он продемонстрировал это мне с нескрываемой гордостью, словно это была его личная заслуга. Дамка на этот раз нас не обнюхивала, а сразу завиляла хвостом.

— Третий корпус посмотрите, — сказал он. — Я там половицу сам прибил. Восемью гвоздями. А то мало ли что.

Новая директор лагеря — точнее, старая, Нонна Аркадьевна, уже без сигареты в пальцах и с леденцом за щекой, — посадила нас на линейке в первом ряду, на скамейку для почётных гостей, рядом с председателем профкома НГДУ. Отряды стояли буквой «П». На флагштоке вместо вороны теперь висел скатанный флаг. И когда старшая вожатая звонко скомандовала «Равняйсь! Смирно! Флаг лагеря поднять!», из строя вышел горнист — не гипсовый, живой.

На нём была белая рубашка, синие шорты и выгоревшая пилотка, а на рукаве — нашивка помощника вожатого. Чёлка была подстрижена и больше не лезла в глаза. За весну он вытянулся почти на голову и раздался в плечах — не иначе как стараниями Гусева. Он вскинул к губам начищенный до блеска медный горн с красным вымпелом — тот самый, с подоконника палаты № 4, — и над линейкой, над бором, над обрывом и ленивой летней Самарой понёсся чистый, ровный, чуть горделивый сигнал подъёма флага.

Я посмотрел на Ефима Лукича. Он стоял у сторожки, вдали от линейки, сняв кепку, и так и стоял с ней в руках, пока флаг полз вверх по флагштоку.

Мы остались до вечера. Шерстнёв по просьбе старшей вожатой провёл со старшим отрядом беседу «Химия вокруг нас», и в течение часа из клуба доносились то взрывы хохота, то благоговейная тишина. Я сидел с Ефимом Лукичом на лавочке у сторожки, мы пили чай из тех самых алюминиевых кружек и почти не разговаривали.

А в десять часов, когда над бором догорела последняя розовая полоса и на стеклах корпусов зажглись жёлтые огни, Костя вышел на середину линейки и сыграл отбой. Три раза подряд. И ни разу не сбился.

Шерстнёв к тому времени уже вернулся из клуба и стоял рядом со мной, заложив руки за спину. Когда последняя нота растаяла над рекой, он сказал вполголоса, ни к кому не обращаясь:

— В январе он сбился на третьем разе потому, что губы примёрзли к меди. А ещё потому, что играл для человека, которого боялся. Теперь играет для трёхсот человек, которые его слушают. Один и тот же сигнал, доктор. И совсем другая музыка.

В корпусах один за другим гасли окна. Последним погасло крайнее окно третьего корпуса, того, что на обрыве, — видимо, там дольше всех шептались. Над бором зажглась звезда — одна, яркая, та самая, что стояла в щели ставня в нашу январскую ночь. Только теперь она не казалась мне равнодушной.

Рассказ 3. Приданое

I. Два дня свадьбы

Плечо моё заживало медленно и неохотно, как заживает всё, что уже однажды было ранено. Клавдия Степановна по вечерам ставила мне на него капустный лист с мёдом, и я, военный врач с дипломом академии, послушно сидел с ним у печки, потому что спорить с нашей хозяйкой о медицине было столь же бесполезно, как спорить с бузулукской погодой. Шерстнёв после лагерной истории три дня почти не выходил из своей комнаты: читал справочник по кристаллографии, писал кому-то длинные письма и сердился на баян, у которого западала клавиша соль второй октавы.

В понедельник, четвёртого февраля, часов в семь вечера, в сенях хлопнула дверь, и на кухню, на ходу разматывая пуховый платок, влетела Галя, племянница Клавдии Степановны. Читатель первой книги этих записок, возможно, её помнит: румяная, громкая, смешливая девушка, работавшая телефонисткой на городской почте и знавшая все новости города раньше, чем они случались. Но в тот вечер она была не румяной и не смешливой. Глаза у неё были заплаканные, а на лакированной причёске, сооружённой по случаю свадьбы, до сих пор блестели прилипшие крупинки конфетти.

— Тётя Клава, Вениамин Аркадьевич дома? — выпалила она с порога. — Я с автобуса, прямо из Державина. У Нинки на свадьбе деньги украли. Все деньги. И на Витьку думают. А Витька не мог, я знаю, что не мог! А в милицию дядя Стёпа не даёт. И Нинка плачет, а Витькины уехали к себе в Елшанку, и свадьба не догуляна…

Шерстнёв стоял в дверях своей комнаты с справочником под мышкой. Со спины он был похож на учителя, которого отвлекли от проверки тетрадей, но он таким образом стоял уже минуту, и по тому, как он положил справочник на подоконник корешком вверх, я понял, что кристаллография на сегодня кончилась.

— Садитесь, Галя, — сказал он. — Клавдия Степановна нальёт вам чаю, а вы выпьете полстакана и начнёте с начала. С самого начала — с того, кто такая Нинка и кто такой Витька. Мы с доктором на их свадьбе не гуляли.

Начало, когда Галя наконец до него добралась, оказалось самым обыкновенным. С Ниной Голубевой они два года жили в одной комнате общежития сельхозтехникума, пока Галя не бросила учёбу ради почты, а Нина не окончила её с красным дипломом и не вернулась в родное Державино зоотехником. Дружба от этого не кончилась, и на свадьбе Галя была подружкой невесты — сидела по правую руку от неё за столом, защищала дверь на выкупе и танцевала с дружком жениха до трёх часов ночи. Жених же, Виктор Лапин, был механизатором из Елшанки — соседнего села, до которого из Державина было восемь километров по дороге и не меньше ста лет старой соседской неприязни.

— У нас в Державине елшанских не любят, — сказала Галя с такой интонацией, будто сама была родом из Державина, хотя родилась на улице Чапаева. — Исстари. И в Елшанке державинских тоже. А дядя Стёпа елшанских вообще терпеть не может. Он Витьке сразу сказал, ещё осенью: не пара ты моей дочери. А Нинка ему: не пара — так уеду в Елшанку без вашего благословения. Она у нас тихая-тихая, а как упрётся — как дядя Стёпа, в него. Ну, и поспорили они, а потом тётя Аня, Нинина мама, всех помирила. И свадьбу собрали как положено, на два дня, с выкупом, с ряжеными. Дядя Стёпа сам свинью зарезал, самую большую. Такая свадьба была… — она прикусила губу. — Вся Державина гуляла.

Свадьба, судя по её рассказу, и вправду была из тех, что помнят лет десять. В субботу — выкуп невесты, сельсовет, где председатель сказала речь про семью как ячейку общества,

и столы в доме Голубевых в две комнаты, с приставленными досками и скамейками, собранными по всей улице. А в воскресенье — второй день, с ряжеными «цыганами», с «поисками ярочки» по чужим сараям и с тем самым обрядом, ради которого в сёлах нашего района и собирают второй день: молодых усаживают во главе стола, перед ними ставят блюдо, и каждый гость, выпив за здоровье молодых, кладёт на блюдо конверт «на обзаведение». Дружка громко объявляет, от кого и сколько, и село потом долго помнит, кто расщедрился, а кто поскупился.

— Столько насобирали! — Галя аж прижмурилась. — Тысячу восемьсот сорок рублей. Я сама считала, с тётей Аней, вечером, когда гости разошлись. Одни Витькины родители триста положили, и дядя Стёпа с тётей Аней — триста, чтобы не меньше. Директор совхоза сто рублей прислал, с шофёром. А остальные по десять, по двадцать пять, по пятьдесят. Нинка с Витькой на мотоцикл с коляской копили, и на холодильник… И вот.

Деньги пересчитали, сложили в старую жестяную шкатулку из-под леденцов — «монпансийку», как называла её тётя Аня, — а шкатулку тётя Аня убрала в сундук, в своей с мужем спальне, закрыла сундук на висячий замочек и ключ повесила на гвоздик за божницей, где он висел всю её замужнюю жизнь. Молодых уложили в горнице, Галю и двоюродную сестру Нины — в кухне на печи, Витиных родителей — у соседей. Хозяева легли у себя.

— А утром, — Галя снова шмыгнула носом, — утром тётя Аня как закричит! Окно в их комнате, что в сад выходит, настежь, с вечера натоплено было, душно, они форточку на ночь открывали, а тут всё окно настежь, и снегу в комнату нанесло. Сундук открыт, ключ в замке торчит, а монпансийка пустая на полу валяется. И следы по саду — валенки — от окна через огород к дороге.

— И никто ничего не слышал? — спросил Шерстнёв.

— Никто. Там же все два дня гуляли… — Галя смутилась. — Дядя Стёпа спал как убитый, и тётя Аня с ног валилась. А мы на печи от их комнаты через сени.

— А жених?

Галя опустила глаза.

— В том-то и дело. Витька ночью выходил. Нинка сама сказала, она же врать не умеет. Проснулась — его нет. Часа в два, говорит. Полчаса не было, а потом пришёл, холодный, снегом пахнет. Она его спросила — где ты был? А он: курить выходил. Полчаса — курить! И утром, когда дядя Стёпа его при всех спросил, где он ночью шастал, Витька покраснел и сказал: «Не ваше дело». Ну тут и началось…

Началось, как я понял, скверно. Степан Ильич Голубев — кладовщик совхозного склада, человек, по словам Гали, крутой и всем селом уважаемый — при всех гостях, собравшихся на опохмелку, назвал зятя вором. Зять схватил тестя за грудки. Их разняли. Витина мать зарыдала, Витин отец вспомнил про державинских всё, что елшанские думали о них со времён коллективизации, и к обеду вся елшанская родня, сев в два грузовика, уехала домой. Витя уехал с ними. Нина осталась в Державине, в свадебном платье, которое не давала с себя снять, и проплакала до вечера.

— А в милицию не сообщили? — спросил я.

— В том-то и дело! — Галя даже вскинулась. — Тётя Аня хотела в сельсовет бежать, звонить, там телефон. А дядя Стёпа как заорёт: не сметь! Позор на всю Державину — милицию на свадьбу! Наши деньги, мы сами с елшанскими разберёмся. И всё. Так и не пустил. А сегодня утром встал чуть свет и ушёл на склад, у них там в среду ревизия, и так и не посмотрел на Нинку. А Нинка мне сказала… — Галя запнулась. — Сказала: галка, ты ведь знаешь того учителя, что у твоей тётки живёт. Пусть он приедет. Пусть он скажет, что это не Витя. А если Витя… тогда пусть тоже скажет.

На кухне стало тихо. Клавдия Степановна перестала греметь чайником. Шерстнёв сидел, соединив кончики пальцев, и смотрел в тёмное окно, в котором отражалась наша лампа под абажуром.

— Галя, — сказал он наконец, — а вы сами видели эти следы в саду?

— Видела. Все видели. Дядя Стёпа нас всех подвёл и показал.

— Сам подвёл?

— Сам. — Галя удивлённо моргнула. — Он же первый прибежал, когда тётя Аня закричала. Он после неё проснулся, в сенях на лавке спал, всегда после гулянки там спит, чтобы тётю Аню не беспокоить. А что?

Шерстнёв ничего не ответил. Он встал, снял с гвоздя у двери своё пальто, посмотрел на него, повесил обратно и повернулся ко мне.

— У вас завтра приём, доктор?

— До четырёх.

— Жаль. В Державино идёт автобус в восемь утра, а обратно — в шесть вечера. И мне бы очень хотелось посмотреть на эти следы до того, как их заметёт окончательно. И на окно. И на сундук. И на человека, который не позволил вызвать милицию, когда у него в доме пропала почти годовая зарплата, и сам показал свидетелям следы вора.

— Вы же не думаете… — начала Галя и осеклась.

— Я пока ничего не думаю, Галя, — мягко сказал Шерстнёв. — Думать, не посмотрев, — это всё равно что ставить диагноз по телефону. Доктор не даст соврать. А вот спросить я хочу ещё одно. Когда Степан Ильич подвёл вас к следам, какие на нём были валенки?

Галя надолго задумалась, смешно сморщив нос.

— Не валенки, — сказала она наконец. — Сапоги. Кирзовые, с носками вязаными. А валенки его у печи сохли. Мокрые были, я их ещё подвинула, когда с печи слезала. Мокрые насквозь. А что?

II. Вата между рамами

Приём я всё-таки перенёс. Коллега мой, терапевт Маликов, согласился посидеть за меня во вторник в обмен на субботнее дежурство и на честное слово рассказать ему потом, чем всё кончилось. Истории Шерстнёва стали в нашей поликлинике чем-то вроде валюты.

Автобус на Державино был старый луковский «батон», набитый так, что мы с Шерстнёвым всю дорогу простояли в проходе, а Галя просидела на коленях у какой-то своей почтовой знакомой. За окнами тянулась плоская белая степь с редкими лесополосами, тёмными, как расчёски, и солнце поднималось над ней медленно и неохотно. Шерстнёв всю дорогу молчал, а когда нас на ухабе бросило друг на друга, сказал только одно:

— Смотрите сегодня на людей, доктор, а не на следы. Следы беру на себя.

Державино — село старое, длинное, вытянутое вдоль речки версты на две, с белыми кирпичными домами совхозной постройки в центре и потемневшими деревянными пятистенками по краям, из тех, что ставились ещё при царе. Дом Голубевых был именно таким: добротный пятистенок на высокой завалинке, с резными голубыми наличниками, с тесовыми воротами, на которых всё ещё висели обмёрзшие бумажные розы и свадебная растяжка «Совет да любовь!». Один её конец сорвало ветром, и она билась о столб, и в этом было что-то невыносимо грустное.

Анна Петровна Голубева встретила нас на крыльце. Невысокая, полная, с круглым добрым лицом, на котором три бессонные ночи оставили серые тени. Она долго и с сомнением разглядывала Шерстнёва — его очки, старое пальто и городские ботинки, совершенно непригодные для деревенских сугробов, — и наконец, повернувшись ко мне, спросила:

— А вы, стало быть, доктор? Галя сказывала. Вы уж без дела не уезжайте. Нинке бы капель каких. Третьи сутки не ест ничего. А Степана нету, на складе он. Ревизия у них завтра. Да он вас и не звал, говорю вам прямо. Это уж мы с Нинкой…

Нина сидела в кухне на лавке у окна. Свадебное платье с неё всё-таки сняли; теперь на ней был толстый серый свитер с чужого плеча, наверняка отцовский, и руки она прятала в рукава. Она была красива той строгой степной красотой, которую не сразу замечаешь и потом уже не забываешь: тёмные прямые брови, твёрдый рот, серые глаза. Когда мы вошли, она встала, и я увидел на её пальце новенькое обручальное кольцо. Снимать его она не собиралась.

— Вы не спрашивайте меня про Витю, — сказала она вместо приветствия. Голос у неё был низкий и спокойный, и это спокойствие стоило ей, видимо, больших сил. — Я знаю, что это не он. Я его четыре года знаю. Он даже на пашне чужую гайку за свою выдать не может. Но он что-то знает. И мне не говорит. Вот этого я перенести не могу. Деньги — бог с ними, наживём. А что он в первую же ночь что-то от меня прячет…

Она не договорила. Шерстнёв снял шапку.

— Ровно поэтому я и не стану спрашивать вас про Виктора, Нина Степановна, — сказал он. — Про Виктора я спрошу Виктора. А вас я попрошу о другом: покажите мне комнату родителей. И сад, что под окном.

Спальня Голубевых была небольшой комнатой в задней половине дома, с одним окном в сад. Кровать с горкой подушек под кружевной накидкой, в углу божница с тёмной иконой и бумажными цветами, на стене фотографии в общей раме: солдат в фуражке, свадебная пара, маленькая девочка с огромным бантом. У стены стоял сундук — старый, кованый, оклеенный изнутри крышки пожелтевшими картинками из «Огонька». На петле висел небольшой висячий замочек. Шерстнёв присел и посмотрел его на свет.

— Цел, — сказал он. — Ни царапины. Открыт своим ключом. Анна Петровна, а кто знал, где висит ключ?

— Да кто… — Анна Петровна растерянно посмотрела на божницу. — Я да Степан. Нинка, наверное, знает, с малых лет по сундукам лазила. А больше никто. Я ж его туда сама

при всех не вешала, вечером, когда мы с Галей посчитали и она уже спать пошла. Я и сундук запирала при Степане только.

Галя за моей спиной кивнула.

Шерстнёв ничего не сказал и подошёл к окну.

Здесь я должен пояснить для городского читателя, если такой найдётся, как устроены окна в деревенской избе зимой. На зиму к летней раме изнутри ставят вторую, зимнюю, а между ними на подоконник кладут вату — чтобы не дуло и чтобы стекло не потело. А на вату, для красоты, хозяйки сыплют ёлочные блёстки, кладут стеклянные шарики, рябину, веточки. Шели зимней рамы заклеивают полосками бумаги на крахмале. Открывается зимняя рама один раз в году — весной, когда её вынимают совсем. Для проветривания же в обеих рамах есть форточки, одна напротив другой.

Зимняя рама в спальне Голубевых была на месте. Бумажные полоски на щелях — целые, даже не надорванные, чуть пожелтевшие от крахмала. Открыта была только форточка — на ширину ладони, и сквозь неё тянуло свежим холодом. А в промежутке между рамами, на белой пушистой вате, лежали три стеклянных шарика — красный, синий и золотой, — и вся вата была равномерно присыпана золотыми блёстками, словно минуту назад присыпанными.

— Анна Петровна, — сказал Шерстнёв очень мягко, не оборачиваясь. — Галя нам сказала, что утром окно было открыто настежь.

— Форточка, — поспешно сказала Анна Петровна. — Форточка была настежь, обе форточки, и та и эта. А снегу нанесло вон сколько, до сундука. Это Галя перепутала, с перепугу. Раму-то и не откроешь, она ж заклеена…

Она вдруг замолчала. Я видел, как на её добром лице медленно, как рассвет над степью, проступает то, о чём она за трое суток ни разу не подумала. Форточка была шириной в две ладони. В неё смогла бы пролезть кошка. Но не взрослый мужчина в валенках. И уж тем более не так, чтобы не тронуть ни одного ёлочного шарика и ни одной блёстки на вате.

Шерстнёв осторожно, двумя пальцами, прикрыл форточку.

— А теперь сад, — сказал он. — И если не трудно, дайте мне какие-нибудь валенки. Мои ботинки для сада не годятся.

Сад у Голубевых был невелик: десяток старых яблонь, кусты смородины, старая баня в дальнем углу, за ней — огород под снегом и плетень, за плетнём — задняя дорога, по которой сельчане ездили на ферму и на совхозный склад. С воскресенья снега не было, только лёгкая позёмка в понедельник, и в глубоком, по колено, снегу сада ещё видны были две цепочки следов. Одна — истоптанная, широкая, в кашу: по ней в понедельник утром ходили к плетню все свидетели, ведомые Степаном Ильичом. Другая — одиночная, аккуратная, в стороне от неё, нетронутая, очевидно сама по себе довольно свидетельная, чтобы по ней самой не ходить.

Шерстнёв долго ходил вдоль неё в чужих огромных валенках, высоко поднимая ноги, как журавль, и часто нагибался. Один раз он снял перчатку и долго щупал край одного следа. Потом дошёл до стены дома и посмотрел вверх, на окно спальни, которое было над высокой завалинкой почти вровень с его головой. Потом на сугроб под окном — гладкий, как простыня, с тонкой корочкой наста. Потом прошёл вдоль стены до угла дома, за которым была дверь из сеней во двор. След шёл туда.

Когда он вернулся ко мне, женщины уже ушли в дом — Анна Петровна ставить самовар, Галя с Ниной за ней. Мы стояли вдвоём под голыми яблонями, и ветер сдувал с веток сухой снежный песок.

— Никто из этого окна не вылезал, доктор, — сказал он вполголоса. — И никто в него не влезал. Вата между рамами не тронута, сугроб под окном не тронут. Человек, выпрыгнувший с такой высоты, пробил бы наст на полметра. А след начинается в шаге от сугроба, как будто человек просто пришёл сюда пешком и постоял. Пришёл он из-за угла, от двери сеней. Потом пошёл через сад к плетню, к задней дороге. А потом вернулся назад — тем же путём, ступая

в свои же следы, след в след. Это видно по краям: у каждого отпечатка двойная стенка, и носок смазан в обе стороны. Долгое, утомительное занятие для двух часов ночи. После такой прогулки по пояс в снегу валенки насквозь мокрые.

Я вспомнил, что сказала нам вчера Галя про валенки у печи. И про лавку в сенях, на которой после гулянки всегда спит хозяин дома. На лавке — у самой двери во двор.

— Вениамин Аркадьевич, — сказал я, и голос у меня почему-то сел. — Вы же не хотите сказать, что отец… У собственной дочери, в свадебную ночь…

Шерстнёв не ответил. Он смотрел поверх плетня, туда, где за задней дорогой, в полукилометре от села, темнел длинный белёный склад с шиферной крышей и двумя огромными воротами. У ворот стоял трактор с тележкой, и тёмная фигурка в телогрейке таскала что-то из тележки внутрь мешок за мешком.

— Я хочу сказать только то, что вижу, доктор, — произнёс он наконец. — А вижу я вот что: завтра на складе ревизия. А кладовщик склада в ночь на понедельник выходил из дома через сад на дорогу, которая ведёт к складу, и не захотел милиции в доме. А зять его в ту же ночь выходил на полчаса «покурить» и теперь молчит даже перед женой. Так молчат, доктор, только тогда, когда выгораживают не себя. — Он вздохнул и стал стаскивать с ног чужие валенки. — После чая мы с вами поищем попутку до Елшанки. А сейчас идём пить чай и говорить о погоде. И ни слова про вату, доктор. Ни одного слова.

III. Жених из Елшанки

До Елшанки нас довёз моловоз. Шофёр, бойкий старичок в танкистском шлеме, всю дорогу рассказывал нам историю свадьбы — в той версии, какая за два дня успела сложиться в районе. В этой версии жених был уже не просто вором, а рецидивистом, денег было не тысяча восемьсот, а пять тысяч, а Степан Ильич гонялся за зятем по селу с вилами. Шерстнёв слушал с вежливым интересом и только раз уточнил, чем теперь занят жених.

— А чем ему заниматься, — сказал старичок. — В мастерских сидит, с утра до ночи. Двигатель на «ДТ» перебирает. У нас как: если мужик с горя не пьёт, значит, железо крутит. Витька не пьёт.

Мастерские стояли на краю села — длинный холодный сарай из шлакоблока, с огромными воротами, через которые выбивался наружу пар от калорифера и звон железа. Внутри, над раскуроченным гусеничным трактором, стоял в замасленном комбинезоне рыжий парень с плечами молотобойца и спокойно, без суеты, стаскивал с вала подшипник. Когда мы вошли, он не сразу поднял голову, а подняв, сразу всё понял. Деревня есть деревня: про городского учителя с доктором, приехавших утром в Державино, в Елшанке знали уже к обеду.

— Я с вами разговаривать не буду, — сказал он, обтирая руки ветошью. — Не брал я денег. И где был — не скажу. Хоть в милицию ведите.

— В милицию вас никто вести не собирается, Виктор, — сказал Шерстнёв. — И спрашивать вас я ни о чём не буду. Я сам вам расскажу, где вы были. А вы только поправите, если я ошибусь.

Парень замер с ветошью в руках.

— В ночь на понедельник, часу во втором, вы вышли на крыльцо покурить, — неторопливо заговорил Шерстнёв, как говорят на уроке, когда рассказывают ход известной реакции. — И увидели, как из сеней вышел ваш тесть. В валенках, с мешком или сумкой. Он не пошёл на улицу, а свернул за угол, вдоль стены, под окно своей спальни, а оттуда через сад к задней дороге. Вам это показалось странным, и вы пошли следом — не по его следу, а по улице, вдоль плетней. И увидели, что он пошёл к совхозному складу. В складе зажёгся и погас свет. И вы вернулись домой раньше него, чтобы он вас не заметил. А утром, когда тёща закричала про деньги, вы поняли, что именно видели ночью. И решили, что лучше пусть вас считают вором, чем вы скажете молодой жене в первое утро её замужества, что её обокрал родной отец. Я нигде не ошибся?

Парень долго смотрел на него. Потом бросил ветошь на гусеницу и тяжело сел на перевёрнутое ведро.

— Сумки не было, — хрипло сказал он. — Он что-то за пазухой нёс, рукой придерживал. А так — всё так. — Он потёр лицо чёрной ладонью. — Как я ей скажу? Она ж на него молится. Он для неё — как стена. Я думал: ну назовёт он меня вором — переживу. Нинка всё равно не поверит, я знаю. А если я скажу… она ж сама себе не простит, что знает. И мне не простит, что сказал. Да и не верю я, чтобы дядя Стёпа стал воровать. У дочери! Значит, припёрло его что-то. Сильно припёрло.

— Что именно, вы не знаете?

Виктор помолчал, крутя в пальцах гаечный ключ.

— Не знаю. Но… В субботу вечером, в первый день, к дяде Стёпе приезжал один. Не державинский и не наш. На «газоне», с бузулукскими номерами. За стол не садился. Они с дядей Стёпой за баней стояли, а я там мимо шёл, дров набрать для бани. Слышал только кусок. Тот говорит: «Деньги вперёд, Ильич, без денег я машину не гоню». А дядя Стёпа ему: «Будут деньги. Завтра будут». И тот ещё сказал, уже когда в кабину лез: «Во вторник, как договори-

лись. В два ночи. Свет не зажигай». Я тогда ничего не подумал. Мало ли, на свадьбу чего везли. А утром…

Шерстнёв посмотрел на меня, потом на часы.

— Сегодня вторник, доктор, — сказал он. — Ревизия завтра в девять утра. А в два ночи к совхозному складу в Державине подойдёт грузовик без фар, оплаченный деньгами из свадебной шкатулки. Виктор, где у вас ближайший телефон с выходом на город?

— В конторе. А вы… вы что, в милицию? На него?

Он вскочил с ведра, и гаечный ключ лязгнул о бетонный пол. В эту секунду он был так непохож на человека, которого обокрали и оклеветали, и так похож на сына, встающего за отца, что я невольно улыбнулся.

— Не на него, — сказал Шерстнёв. — На человека на «газоне», который продаёт кладовщикам то, чего у них не хватает к ревизии. И на тех, кто его таким товаром снабжает. А ваш тесть, Виктор, сегодня ночью сделает самую большую ошибку в своей жизни, если его никто не остановит. Вы хотите его остановить?

Виктор стоял посреди мастерской, большой и растерянный, с чёрными по локоть руками.

— Хочу, — сказал он. — Только как? Он же меня к себе на порог не пустит.

— На порог — не пустит, — согласился Шерстнёв. — А на склад в два ночи его никто и спрашивать не станет. Мойте руки, Виктор. И оденьтесь теплее. Ночь будет длинная.

IV. Грузовик без фар

Лыткин приехал в одиннадцатьом часу — злой, невыспавшийся, с сержантом Дудкиным и с неизменными семечками в кармане сержанта. По телефону Шерстнёв сказал ему всего две фразы: «Бузулукский «газон» с краденым комбикормом в два ночи у склада в Державине. Покупатель не сбежит, продавец — постарается». Капитан долго молчал в трубку, потом спросил одно слово — «Ремез?» — и, не дождавшись ответа, положил трубку.

— Ремизов Георгий, — сказал он теперь, когда мы сидели в тёмном «уазике», загнанном за стог соломы в трёхстах метрах от склада. — Ремез. Шофёр с комбикормового завода. Два года мы с Соколовым на него смотрим, как кот на сметану в чужой банке. По всему району кладовщикам перед ревизиями недостачу закрывает. По высокой цене и деньги вперёд. А комбикорм с завода возит не один, там целая компания, только взять его ни разу не удавалось. Кладовщики молчат — сами же под статьёй. А с поичной лисицу не достанешь.

— Сегодня достанем, — сказал Шерстнёв.

Виктор сидел сзади, между мной и Дудкиным, и занимал столько места, что сержант держал семечки у самого стекла. За всю ночь парень не сказал ни слова, только однажды, когда Лыткин назвал кладовщиков «подстатейными», сжал кулаки на коленях.

Склад темнел на фоне снега длинной горбатой тушей. Над воротами горела одна лампочка под жестяным колпаком, и ветер раскачивал её, так что круг света на снегу то наплывал на ворота, то отбегал назад. Державино спало. Только в одном окне на краю села до самой полуночи горел свет, и я догадывался, чье это окно.

В час сорок по задней дороге от села показалась фигура. Высокая, сутулая, в полушубке и собачьей шапке. Человек шёл медленно, как идут на работу, которую ненавидят. У ворот он остановился, огляделся на спящее село, потом задрал голову и выкрутил лампочку из патрона голой рукой. Круг света исчез. Залязгал замок.

Виктор рядом со мной тихо выдохнул.

А ещё через двадцать минут со стороны большака послышалось надсадное гудение мотора, и в синеватой мгле медленно выполз тёмный грузовик с крытым кузовом. Без фар. Шофёр вёл его по накатанной колее уверенно, как водят по дороге, исхоженной не один раз. У склада грузовик развернулся и подал задом к распахнутым воротам. Хлопнула дверца. Из кабины выскочил человек в кожаном полупальто и норковой шапке — такие шапки в совхозах не носили даже директора. Откинул борт.

Начали разгружать. Работали молча и быстро: Ремез подавал мешки с борта, Степан Ильич принимал их на плечо и уносил в темноту склада. Десять мешков. Пятнадцать. Двадцать. Старик начал спотыкаться. На двадцать пятом мешке он остановился посреди наста, согнувшись, и постоял так, переводя дух, а Ремез что-то насмешливо сказал ему с борта. Я почувствовал, как сдвинулся с места Виктор, и схватил его за рукав.

— Рано, — шепнул Шерстнёв с переднего сиденья. — Дождёмся расчёта. Деньги должны быть у него в руках.

Старик всё-таки поднялся и понёс мешок дальше. Тридцать. Тридцать пять. Тридцать шесть. Ремез спрыгнул с борта, захлопнул его и протянул руку. Степан Ильич полез за пазуху. И я увидел в тусклом лунном свете, как из-за пазухи появилась и перешла из рук в руки свернутая трубкой пачка денег — и как Ремез, не таясь, чиркнул спичкой и стал пересчитывать.

— Вот теперь пора, — сказал Лыткин и включил фары.

Два белых луча ударили через наст и пригвоздили к стене склада две фигуры — коренастую, в кожаном пальто, с деньгами в одной руке и горящей спичкой в другой, и высокую, сутулую, в полушубке. Лыткин и Дудкин уже бежали к ним по снегу.

— Милиция! Стоять на месте!

Ремез не стал стоять на месте. Он швырнул спичку в снег, сунул деньги за пазуху и с невероятной для своей комплекции быстротой нырнул в кабину. Мотор взревел. Грузовик дёрнулся, взрывая колёсами снег, и рванул с места — прямо на нас, к единственному выезду на большак. Лыткин едва успел отскочить. Дудкин плюхнулся назад в сугроб.

И тогда я увидел Виктора. Он выскочил из «уазика» раньше всех, и теперь бежал наперерез грузовику — не от него, а к нему, наискосок, наравне с кабиной. На повороте, где грузовик на секунду замедлился, он прыгнул на подножку, распахнул дверцу и, вися на ней, матёро и точно, как делают люди, всю жизнь просидевшие за рычагами, дотянулся до ключа зажигания. Мотор хрюкнул и заглох. Грузовик по инерции прополз ещё метров десять, мягко съехал в кювет и застыл по двери в снегу.

Когда мы подбежали, Ремез сидел в сугробе, держась за скулу, а над ним стоял Виктор, тяжело дыша, и норковая шапка лежала в стороне, так печально, что Дудкин, отряхиваясь, подобрал её и зачем-то сдул с неё снег. Лыткин надел на Ремеза наручники и вытащил из-за кожаной пазухи свёрнутую трубкой пачку денег. Пачка была перетянута не резинкой, а розовой атласной ленточкой — такой, какими в Державине украшают свадебные конверты.

Степан Ильич Голубев не бежал. Он стоял там же, у распахнутых ворот своего склада, в белом свете фар нашего «уазика», и на плече у него всё ещё лежал последний, тридцать шестой мешок, который он так и не снял. Он смотрел не на милицию и не на Ремеза. Он смотрел на зятя.

Виктор подошёл к нему медленно, по глубокому снегу. Остановился. Потом протянул руки, снял с плеча старика мешок и положил себе на плечо.

— Ты?.. — сказал Степан Ильич. Голос у него был совершенно пустой. — Ты знал?

— С воскресенья, — сказал Виктор. — Куда нести-то, папа? В какой закром?

Никто из нас, стоящих в свете фар, не сказал ни слова. Даже Ремез перестал сопеть в сугробе. А Степан Ильич Голубев, кладовщик и староста своего рода, человек крутой и всем селом уважаемый, медленно снял собачью шапку, как снимают её в церкви или на похоронах, и стоял так с обнажённой седой головой на морозе, перед елшанским зятем, и не знал, что сказать.

V. Семь коров

В конторке кладовщика — фанерной клетушке в углу склада, с чугунной печуркой, счётами и календарём с Гагариным — было тесно и душно. Ремеза Дудкин стерёг в «уазике», и оттуда время от времени доносились громкие и бесполезные требования адвоката и прокурора. Степан Ильич сидел за своим собственным столом, как на чужом, положив перед собой большие тёмные руки, и говорил не нам и не Лыткину, а Виктору, который стоял у двери, прислонившись к косяку.

История его была простой, как и сам он. Прошлое лето выдалось дождливым, сено у половины села сгнило в валках, и к декабрю в Державине стало нечем кормить скотину. У кого были деньги или сыновья-шофёры, те достали сена в других районах. А семь дворов достать не смогли: три вдовы, старики Харитоновы, да семья с пятью детьми, да ещё две. У каждого двора была одна корова. И каждая из семи коров кормила семью.

— Пришла ко мне Дуся Харитонова, — сказал Степан Ильич, глядя в стол. — Старуха. Ревёт. Говорит, Рыжуху резать придётся, а она стельная, в марте телиться. Ну я и… Дал ей три мешка. Со склада. Без бумаги. До весны, сказал, телёнка продашь — рассчитаешься, а я деньги в кассу внесу и оформлю как продажу населению. Ревизия-то у нас всегда в апреле. А потом пришла вторая. Потом третья. Всё село же знает, что у Голубева склад. И каждой в глаза смотришь… — Он махнул рукой. — Тридцать шесть мешков за зиму раздал. Восемнадцать центнеров. Все коровы живы. А в январе из управления бумага: внеплановая ревизия, шестого февраля. Во всех совхозах района. И свадьба на носу. И денег у меня — ни рубля, всё в свадьбу ушло, и в селе никто таких денег в долг не даст. А про Ремеза кладовщики друг другу давно шепчутся…

— Почему вы не пошли к директору? — спросил Шерстнёв.

Старик горько усмехнулся.

— С чем? С семью старухами? А если они с перепугу скажут, что ничего не брали? И не скажут — так ему тогда самому отвечать. Растрата социалистической собственности. Я тридцать лет в совхозе, я знаю, как это бывает. А Ремез — он молчит. Деньги взял, свезёт, и никто ничего не знает. Весной старухи расплатятся, я всё до копейки Нинке верну. Думал — возьму в долг. У неё же. На три месяца. И верну…

Голос у него вдруг сорвался.

— А про меня вы что думали, папа? — тихо спросил Виктор от двери. Он спросил без злости. Просто спросил.

Степан Ильич поднял на него глаза и долго смотрел.

— Про тебя я не думал, — сказал он наконец. — В том-то и дело. Я про тебя совсем не думал. Утром Аня закричала, я следы показываю, а сам думаю: на чужого, на прохожего, на цыгана какого. А тут твоя мать говорит: что там искать, свои взяли, надо за своими смотреть. Державинские, дескать. Ну и меня разобрало. А ты ещё молчишь, глаза прячешь… Я сказал — и сам себе поверил. Легче ведь, когда есть кто виноват. — Он помолчал. — А ты, стало быть, видел. И смолчал. Ради Нинки.

— Ради Нинки, — согласился Виктор. — И ради вас тоже. Вы же мне теперь не чужой. Хоть и державинский.

Лыткин долго и сердито смотрел в тёмное окошко. Потом повернулся к Шерстнёву.

— Вы понимаете, что мне с ним теперь делать? В девять утра ревизия. Краденый комбикорм — вещдок, я его сейчас опечатаю. Недостача восемнадцать центнеров, никаких бумаг. По закону это…

— По закону это недостача, — спокойно сказал Шерстнёв. — А недостача, Пётр Васильевич, бывает разная. Бывает недостача, которую унесли в свой сарай. А бывает — которую

раздали в долг семи дворам под честное слово. Вторая превращается в продажу населению в кредит, стоит только семи дворам придти и подписаться. Директор совхоза — человек, как я понял, неплохой: сто рублей на свадьбу кладовщика без причины не посылают. У нас семь часов до ревизии. Степан Ильич, дайте мне список семи дворов.

— Сейчас? Ночь же…

— В деревне встают в пять — доить. Как раз к тем самым коровам, в сарай. И ещё одно. — Шерстнёв посмотрел старику прямо в глаза. — Разговор с дочерью вы начнёте сами. Не зять, не жена, не капитан Лыткин. И не мы. Вы.

Нина пришла на склад сама, в пятом часу утра, в отцовском свитере под расстёгнутым пальто, с непокрытой головой. В Державине нельзя спрятать милицейский «уазик» с включёнными фарами и грузовик в кювете, и соседский мальчишка, пробегавший мимо в туалет, уже донёс. Она остановилась в дверях конторки и обвела взглядом всех нас: Лыткина с бланком протокола, Шерстнёва, меня, мужа у косяка, отца за столом. И на столе перед отцом — свёрнутую трубкой пачку денег, перевязанную розовой атласной ленточкой. Она сама вязала эти ленточки на конверты накануне свадьбы. Я понял это по её лицу.

Степан Ильич встал. Ростом он был почти под потолок конторки, и никогда не был таким маленьким.

— Дочка, — сказал он. — Это я.

И больше ничего. Ни объяснений, ни старух, ни коров. Он просто стоял и ждал, что она скажет. И мы все ждали.

Нина молча прошла к столу. Взяла со стола список — семь фамилий, написанных крупным отцовским почерком на обороте накладной. Прочитала. И я увидел, как дрогнули у неё губы на первой же строчке: «Харитонова Евдокия, 3 мешка». Баба Дуся, у которой в детстве она, должно быть, пила парное молоко прямо из кружки.

— Витя, — сказала она, не оборачиваясь. Голос у неё был низкий и совершенно твёрдый. — Пойдём. Семь дворов до девяти часов. Успеем.

У двери она остановилась и всё-таки обернулась.

— А ты, папа, — сказала она, — садись и напиши объяснительную директору. Всю правду. Без вранья. Хватит нам вранья.

И ушла в серый предрассветный сумрак, и за ней, на шаг позади, сутуля огромные плечи, пошёл её муж.

В девять утра, когда к складу подъехала ревизионная комиссия и чёрная «Волга» директора совхоза, у ворот их ждали семь человек. Три старухи в платках, старик Харитонов с палкой, заплаканная женщина с грудным ребёнком на руках и двое мужиков в телогрейках. У каждого в руках была бумажка, и на каждой бумажке одним и тем же ровным девичьим почерком было написано, сколько и когда получено комбикорма со склада с обязательством рассчитаться до первого мая. А ниже — подписи. Кривые, неумелые, крестик у бабы Дуси.

Директор совхоза Пахомов, приземистый седой человек в фетровых ботах, вышел из машины, посмотрел на них, на милицейский «уазик», на грузовик в кювете, на невесту в отцовском свитере и на елшанского жениха рядом с ней. Долго смотрел. Потом сказал ревизорам:

— Вы пока считайте мешки, товарищи. А я с людьми поговорю. И с Голубевым. Особенно с Голубевым.

VI. Третий день свадьбы

Ревизия шла три дня. Восемнадцать центнеров комбикорма в книге склада превратились в «отпуск населению в счёт будущих расчётов», оформленный задним числом и завизированный директором Пахомовым лично, с таким выражением лица, будто он сам и придумал такую форму помощи сельскому населению. Строгий выговор Степан Ильич всё-таки получил — за нарушение порядка оформления документов, — а со склада его перевели бригадиром на ферму. По словам Анны Петровны, на ферме он впервые за десять лет стал спать по ночам.

Ремез молчал ровно трое суток. На четвёртые майор Соколов из ОБХСС положил перед ним список из пятнадцати кладовщиков района, у которых внеплановые ревизии не обнаружили никаких недостач — совсем никаких, ни килограмма, что уже само по себе было подозрительно, — и на четвёртые сутки Ремез заговорил. К весне в деле были уже заведующий складом готовой продукции комбикормового завода, два весовщика и четыре шофёра, и Лыткин признавался, что никогда ещё так дёшево не доставалась ему такая большая рыба: ценою одной ночи на морозе и одной норковой шапки, которую Дудкин так бережно отряхивал от снега.

Свадебные деньги с розовой ленточкой пролежали в сейфе горотдела до суда и вернулись к молодым в апреле, до рубля. А в мае семь дворов рассчитались с совхозом, все до одного. Рыжуха бабы Дуси отелилась в марте тёлочкой, и баба Дуся назвала её Свадьбой. По словам Гали, державинские старухи долго спорили, прилично ли так называть корову, и решили, что раз такое дело, то прилично.

Но всё это было потом. А в субботу, девятого февраля, мы с Шерстнёвым снова ехали в Державино. Пригласила нас Анна Петровна, через Галю, и приглашение было сформулировано так, что отказаться было невозможно: «Третий день свадьбы. Елшанские едут. Без вас не начнём». Шерстнёв взял с собой баян, и на соль второй октавы весь вечер западала клавиша, но этого так никто и не заметил.

Елшанские приехали в двенадцать, на тех же двух грузовиках, на которых всего неделю назад уезжали в смертельной обиде. Старший Лапин, Викторов отец, такой же рыжий и такой же огромный, только с сединой, вылез из кабины и остановился перед воротами Голубевых, как останавливаются перед вражескими укреплениями. Из ворот ему навстречу вышел Степан Ильич, в чистой рубахе и начищенных сапогах. Они постояли друг против друга — два старых быка из соседних сёл, в тишине, в которой слышно было, как скрипит снег под ногами зрителей по ту сторону улицы. А зрителей было полсела.

Потом Степан Ильич снял шапку. И поклонился — не кивнул, а именно поклонился, в пояс, по-старинному, как в этих местах не кланялись уже лет сорок.

— Сват, — сказал он. — Прости меня, старого дурака. И сына твоего я задарма обидел. Хорошего ты сына вырастил. Лучше, чем я думал. Лучше, чем я.

Старший Лапин помолчал, пожевал рыжий ус, потом тоже стянул шапку.

— Да и дочка у тебя, Ильич, не хуже, — сказал он грубовато. — Потому, видать, и сошлись. Давай уж, сват. Впускай. Народ мёрзнет.

И тут же, в воротах, они обнялись — неловко, по-медвежьи, стукнувшись лбами, — и полсела на той стороне улицы выдохнуло так, что с берёзы у клуба сорвалась стая воробьёв. А Галя рядом со мной заревела в голос, и никто её не стал утешать, потому что ревела не одна она.

Третий день свадьбы в Державине помнили потом дольше, чем первые два. Говорили, что такого ещё не было: чтобы елшанские с державинскими пели за одним столом одну песню. На блюдо перед молодыми на этот раз ничего не клали — зато баба Дуся Харитонова принесла в глиняной кринке молока от Рыжухи и поставила на стол перед Ниной с таким видом, с каким в другие времена подносили царские дары.

Уже за полночь, когда Шерстнёв в третий раз сыграл «Оренбургский пуховый платок» и державинские с елшанскими в третий раз спели его от начала до конца, Нина подошла к нам и протянула Шерстнёву что-то на ладони. Это была старая жестяная коробочка из-под леденцов — та самая «монпансийка».

— Возьмите, — сказала она. — На память. Нам она больше не нужна. Мы теперь деньги в сундуке держать не будем. Мы их на сберкнижку.

Шерстнёв взял коробочку, повертел в пальцах и открыл. Внутри, свёрнутая аккуратным колечком, лежала розовая атласная ленточка. Он долго смотрел на неё, потом аккуратно закрыл крышку и положил коробочку во внутренний карман пиджака, туда, где у него хранилось пенсионное удостоверение и старая фотография, которую он никому не показывал.

— Химика, — сказал он мне в обратном автобусе, уже под утро, когда все пассажиры спали, а за окном серела степь, — всю жизнь учит одному: любая реакция идёт по уравнению. Взяли столько-то исходного вещества — получили столько-то продукта. А вот такого уравнения я ещё не видел. Взяли кражу, ложь, старую вражду двух сёл и краденый комбикорм. А на выходе — третий день свадьбы и тёлочка по кличке Свадьба. Никакой химии, доктор. И очень хорошо, что никакой.

Он положил руку на карман, где лежала коробочка, и через минуту уже спал, привалившись виском к холодному стеклу. А я смотрел на степь и думал, что эту историю запишу непременно. И что розовую ленточку в ней забыть нельзя.

Рассказ 4. Чёрная «Волга» у кладбищенской церкви

I. Записка в печи

В субботу, шестнадцатого февраля, в семь утра в нашу дверь на Отакара Яроша не постучали — в неё забарабанили. Клавдия Степановна ещё не вставала, и открыл я, в наскоро наброшенной шинели поверх белья.

На пороге стояла женщина лет пятидесяти в сером пуховом платке, засыпанном снегом, и в незастёгнутом пальто. Я узнал её не сразу: прежде я видел её только в церкви, спокойной, с свечой в руке, под руку с мужем, чей густой бас держал на себе весь церковный хор. Теперь лицо у неё было серое, а глаза не спали всю ночь.

— Антонина Корнилова, — сказала она хрипло. — Доктор, мой муж пропал.

Шерстнёв вышел из своей комнаты уже одетый, словно и не ложился. Он посадил женщину у печки, снял с неё мокрый платок и ни о чём не спросил, пока она не заговорила сама.

Рассказ её занял минут десять. Вчера было Сретение. После литургии, когда народ расходился по кладбищенской аллее, у ворот стояла чёрная «Волга» — не такси и не исполкомовская, в Бузулуке таких не было. Из неё вышел человек в дублёнке и пыжиковой шапке, подошёл к Корнилову, сказал что-то вполголоса, сунул ему в руку сложенную бумажку и уехал.

— А муж прочёл — и побелел, — сказала она. — Я видела. Как мел. Я спрашиваю: что, кто? А он: ничего, Тоня, старый знакомый, с работы. С какой работы, он у нас столяр на мебельной фабрике, двадцать лет! Потом он вернулся в церковь, сказал, что забыл перчатки. А дед Афанасий, сторож, потом мне сказал — он бумажку в сторожке в печку кинул. Весь день молчал. Вечером сидел у окна без света. А в одиннадцать ночи столбами зафырчала машина под окнами, он надел пальто, сказал мне: «Тоня, я ненадолго. Не жди, ложись». И поцеловал меня. Вот сюда, в лоб. Как покойника. — Она слепо потрогала свой лоб. — И не вернулся. Я в милицию не пошла. Там скажут — взрослый мужик, загулял, три дня ждите. А он не пьёт. И не гуляет. Тридцать лет не гуляет.

— Вы знаете, кто этот человек? — спросил Шерстнёв.

Антонина помедлила на долю секунды дольше, чем следовало.

— Нет.

— А догадываетесь?

Она не ответила. Шерстнёв не стал настаивать. Он снял с вешалки пальто.

— Сторожку ещё не топили сегодня?

До кладбища мы добрались за двадцать минут. Той зимой кладбищенская церковь была единственной действующей на весь город: небольшая, белая, с зелёным куполом, окружённая старыми чёрными тополями и снежными горбами могил. В неё снесли за полвека всё, что уцелело из закрытых и взорванных церквей города, и её иконостас был тесен и пёстр, как деревенский сундук с приданым.

Сторож Афанасий, маленький горбатый старик с садецкой бородкой, только махнул рукой на свою печку: с вечера не топлена, дрова только собирался нести. Шерстнёв опустился перед ней на колени, открыл дверцу и долго перебирал золу карандашом, как перебирают испорченную лабораторную смесь. Потом очень осторожно, на лезвии перочинного ножа, вынес на свет чёрный свернувшийся лепесток.

Бумага сгорела, но сгорела плохо, как горит плотная бумага, брошенная в почти потухшую печь. На чёрном пепле, если смотреть вскользь, серебристо проступали буквы, выдавленные шариковой ручкой. Шерстнёв долго держал лепесток перед окном, поворачивая, потом начал читать вслух, медленно, с пропусками:

— «…латежом красен, бас. Суббота… всенощной… Казанская. Иначе твоя Тоня узнает про Самару… десят второго. Г.»

За моей спиной Антонина Корнилова тихо охнула.

— Долг платежом красен, — сказал Шерстнёв, не оборачиваясь. — Суббота, после всенощной. Казанская. Самара, шестьдесят второй год. Начало сгорело, но пословицу знает каждый. Афанасий, что такое «Казанская» в вашей церкви?

Старик перекрестился.

— Икона. Матерь Божия Казанская, в серебряном окладе. Из собора, что в тридцатых закрыли. Бабки ночью на руках вынесли. Старая она, сказывают, очень. Из Москвы учёный приезжал в семидесятых, смотрел, что-то в тетрадку писал. Век, говорит, семнадцатый. А ключ от храма, — добавил он, и голос его вдруг дрогнул, — ключ от храма трое держат. Батюшка, я да староста церковный. А староста у нас с прошлого года — он. Ихний муж.

Мы оба обернулись к Антонине. Она стояла в дверях сторожки, держась за косяк, и на её лице было то, чего я не хотел бы видеть ни на одном лице: не удивление, а узнавание.

— Антонина, — очень мягко сказал Шерстнёв. — До конца всенощной сегодня осталось часов двенадцать. Ваш муж жив и в городе — иначе он никому не нужен. Ключ у него, и без него тому человеку в храм не войти. Но чтобы мы успели, мне нужно знать про Самару. Всё, что знаете вы.

Женщина долго смотрела на него. Потом произнесла одно-единственное слово, и слово это было имя:

— Глеб.

II. Самара, шестьдесят второй

Историю Антонина рассказала там же, в сторожке, сидя на дедовом топчане, пока Афанасий топил печь и делал вид, что ничего не слышит.

В шестидесятых Корниловы жили в Куйбышеве — в Самаре, как до сих пор говорили старики. Он пел в филармоническом хоре, ему прочили оперу, и другом его, другом самым близким, был сосед по пульту, тенор Глеб Вершинин, весёлый, расточительный, с вечными долгами и вечными делишками на стороне. Весной шестьдесят второго из склада, куда свезли имущество нескольких закрытых церквей, пропали четыре старые иконы. Через месяц одну из них нашли у иностранца на таможне. А ещё через неделю забрали Глеба. Забрали и Корнилова — но на третий день отпустили: Глеб взял всё на себя. Ему дали семь лет.

— А нас после этого нигде не брали, — сказала Антонина. — Из хора нас попросили. Из квартиры тоже. Мы сюда и уехали, к его матери, в Бузулук. Он на фабрику столяром. Петь бросил. Десять лет ни ноты не спел, даже за столом на праздник. А в семидесятом году пришёл сюда, в эту церковь, и запел. И с тех пор ни одной службы… Я его спрашивала про Глеба. Один раз. Он сказал: «Глеб ни в чём не виноват, Тоня. И никогда меня про него не спрашивай». Я и не спрашивала. Двадцать три года.

— Ни в чём не виноват, — повторил Шерстнёв.

Антонина подняла на него глаза, и по этим глазам я понял, что за двадцать три года она сама себе ни разу не позволила подумать, что значат эти слова.

Лыткин приехал к кладбищу через сорок минут после моего звонка из автомата на углу. За эти сорок минут он успел сделать то, что умел лучше всего, — обзвонить полгорода.

— Вершинин Глеб Петрович, тысяча девятьсот тридцатого, — сказал он, не выходя из машины. — Жил в гостинице «Бузулук» на Ленина с среды, номер двести семь. Командировочное — облпотребсоюз, заготовитель, Дудкин уже звонит в Куйбышев, проверяет, знают ли там такого заготовителя. Вчера в десять вечера сдал номер и уехал. Потому что человек, у которого через сутки кража в городе, в гостинице не ночует. А в десять тридцать чёрную «Волгу» видели у дома Корнилова. Соседка сказала — сам сел, никто не толкал. Машина пошла на Чапаева, дальше не знаю. В номере гостиницы уже прибрались. Но мусор с второго этажа, слава богу, выносят по субботам только к обеду.

Он протянул Шерстнёву в открытое окно «уазика» смятый бумажный комок — испорченный бланк телеграммы и сложенный вчетверо тетрадный лист. Телеграмма была адресована в Москву, какому-то «Вадиму Альбертовичу», и текст её, написанный и зачёркнутый, был короток: «Товар воскресенье утро Курумоч рейс москва встречай глеб». А на тетрадном листе шариковой ручкой, твёрдой рукой человека, привыкшего чертить, был набросан план: прямоугольник храма, крестик алтаря, линия иконостаса и кружок слева от царских врат с подписью «Каз.». У входа стояло: «замок — ключ К.». И ещё одно слово, обведённое дважды, у боковой стены: «сторожка!».

Афанасий, заглянувший Шерстнёву через плечо, перекрестился вторично за утро.

— Курумоч — это аэропорт в Куйбышеве, — сказал Лыткин. — Утренний московский рейс. До Куйбышева отсюда на «Волге» часа три, если гнать. Значит, если он возьмёт икону ночью, к утру она будет в самолёте, а к обеду — в Москве. А через неделю — на западе. Как та икона в шестьдесят втором. Только теперь уже навсегда.

Шерстнёв не слушал. Он смотрел на дважды обведённое слово «сторожка!», и лицо у него стало твёрдым.

— Зачем человеку, у которого есть ключ от храма и послушный староста, дважды обводить сторожку? — сказал он вполголоса. — Затем, что в сторожке ночует человек, который может услышать. Афанасий, в сторожке есть телефон?

— Нету. У батюшки только, в доме.

— Значит, если Афанасий услышит и выйдет, его надо будет остановить. А если Афанасий остановлен, то и наш староста после всего этого тоже свидетель. — Он посмотрел на Лыткина. — Пётр Васильевич, человек, который семь лет сидел за чужую вину, второй раз сидеть не собирается. И свидетелей оставлять — тоже.

Антонина стояла в дверях сторожки. Она слышала всё. Я шагнул к ней, думая, что она сейчас упадёт, но она не упала. Она спросила совсем тихо и совсем не то, что я ожидал:

— Он придёт на всенощную?

— Думаю, придёт, — сказал Шерстнёв. — Староста, который в субботу не придёт на всенощную, переполошит весь приход, а ему это сегодня не нужно. Он придёт, отпоёт службу, закроет храм и унесёт ключ. Антонина, я прошу вас об одном. Вы тоже придёте на всенощную, станете на своё обычное место и ни одним взглядом не покажете ему, что что-то знаете.

— Этого я не смогу, — сказала она.

— Сможете. Вы двадцать три года не спрашивали его про Глеба. Один вечер вы сможете не спрашивать тоже.

III. Всенощная

Батюшка, сухонький седой старик с лицом сельского учителя, выслушал Лыткина у себя в доме, не перебивая, и задал всего один вопрос:

— Вы сможете сделать так, чтобы в храме не пролилась кровь?

Лыткин сказал, что постарается. Батюшка посмотрел на него долго, потом на Шерстнёва, потом зачем-то на меня — и благословил всех троих, не спрашивая, крещёные мы или нет. Афанасию он велел ночевать у себя на кухне, и старик, поворчав, уступил свою сторожку, топчан и овчинный тулуп сержанту Дудкину. Дудкин принял тулуп с благодарностью: ему предстояло изображать спящего сторожа и при этом не спать.

Нам с Шерстнёвым и Лыткину досталось самое странное место, в каком мне когда-либо приходилось сидеть в засаде. Под хорами, слева от входа, была узкая дверь в кладовую, где хранили свечи, лампадное масло, старые хоругви и сломанные подсвечники. Из неё сквозь щель был виден весь храм до самого иконостаса. Мы вошли туда в пять часов, за час до начала службы, когда в храме ещё никого не было, и батюшка сам закрыл за нами дверь на крючок, как закрывают расшалившихся мальчишек. В кладовой пахло воском, пылью и давним ладаном.

В шесть ударил колокол. Храм наполнялся медленно: старухи в тёмных платках, двое стариков с орденскими колодками, какая-то молодая женщина с ребёнком, трое сельских мужиков, приехавших в город субботним автобусом. Зажигались свечи. Оклады икон выступали из темноты один за другим, как выступают из тумана бакены. И слева от царских врат встала из темноты она — тёмный лик в серебряном окладе, чуть склонённая голова, младенец с поднятой рукой. Перед ней горела красная лампада, и в её свете серебро казалось золотым.

Антонина пришла за четверть часа до начала и встала справа, у колонны, своё обычное место. Спина у неё была прямая, как доска.

Корнилов пришёл в шесть без пяти.

Я увидел его в щель двери, когда он проходил мимо нас, в двух шагах. Высокий, чуть сутулый, с большой седой головой и тяжёлыми столярными руками. Лицо у него было серое, небритое, и такое спокойное, какие бывают у людей, которые всё уже решили. В Афганистане я видел такие лица у ребят перед выходом на задание, с которого не собирались возвращаться, и мне стало не по себе.

Он остановился перед Казанской. Постоял. Поставил свечу. Потом обернулся — и увидел жену.

Я не знаю, что произошло в ту секунду между этими двумя людьми, прожившими вместе двадцать пять лет. Антонина не сделала ни одного движения. Она просто смотрела на него, как смотрела, наверное, каждую субботу все пятнадцать лет, что он пел в этой церкви. Но Корнилов вдруг покачнулся, как от удара, и быстро пошёл к лесенке на клирос.

А потом он запел.

Я слышал его и раньше, и не раз. Но так, как он пел в тот вечер, я не слышал никогда и не услышу уже, наверное, никогда. Бас его заполнял весь маленький храм, от пола до купола, и дрожали огоньки свечей, и, по-моему, даже стёкла в окнах. Он пел так, как поют в последний раз. Старухи стали оглядываться на клирос и креститься. Один из стариков с колодками плакал, не скрываясь.

Рядом со мной в темноте кладовой Лыткин шёпотом выругался — и тут же, спохватившись, неумело перекрестился. Шерстнёв стоял неподвижно, приникнув глазом к щели. Когда на величании бас ушёл вниз так глубоко, что у меня задрожали под ногами половицы, он сказал едва слышно, не отрываясь от щели:

— Это не человек, который собирается ночью отдать икону, доктор. Это человек, который собирается за неё умереть. И если так, то всё сегодня ночью будет ещё хуже, чем я думал.

Всенощная кончилась в девять. Народ расходился медленно, как расходятся с службы, на которой случилось что-то, чего никто не может назвать. Антонина ушла одной из последних, не обернувшись. Батюшка потушил свечи, оставив только лампады, и, проходя мимо нашей двери, чуть замедлил шаг. Корнилов спустился с клироса последним. Он обошёл храм, деловито, как обходил, должно быть, каждую субботу — поправил коврик у амвона, снял с подсвечника огарки, проверил форточки. Перед Казанской он остановился снова. И я увидел, как он протянул руку и потрогал винт на раме киота — не так, как касаются святыни, а так, как столяр проверяет, легко ли он пойдёт.

Потом он вышел. Тяжёлая дверь храма затворилась. Дважды повернулся ключ в старом замке. И мы остались втроём в запертом храме, в темноте, в которой горели только две красные лампады — перед Спасом и перед Казанской.

Лыткин посмотрел на светящиеся стрелки часов и неслышно расстегнул кобуру.

— Девять сорок, — сказал он. — Сколько ждать?

— До тех пор, пока в сторожке не погаснет свет, — отозвался Шерстнёв. — И ещё час после этого. И ещё одно, Пётр Васильевич. Кобура — это правильно. Но вы слышали, о чём просил батюшка.

IV. Ночь в запертом храме

Свет в сторожке погас в десять — Дудкин послушно изображал Афанасия, ложившегося с курами. Потом потянулись часы, которые я и сейчас не вспоминаю без содрогания. В запертом храме остывала печь, и с каждой минутой становилось холоднее. Потрескивали старые балки. Красные лампады медленно качались от невидимого сквозняка, и с ними качались тени на стенах, и лики святых словно поворачивались в нашу сторону. У Лыткина были часы со светящимися стрелками, и он смотрел на них каждые пять минут. В полночь над кладбищем прокричала сова, и капитан сказал в темноту такое, чего в церкви говорить не полагается.

В час двадцать за оградой тихо зарокотал мотор и сразу смолк. Хлопнули две дверцы — не одна, две. Потом заскрипел снег на аллее: два человека, один шаг тяжёлый, другой — лёгкий и быстрый. Лёгкие шаги свернули в сторону сторожки. Я задержал дыхание. Там был Дудкин, один, в чужом тулупе.

Шаги у сторожки стихли. Прошла минута. Другая. Потом они вернулись, и чей-то тихий, сухой, привычный к командам голос сказал у самой двери храма:

— Спит твой дед. Храпит, как паровоз. Открывай.

Ключ повернулся дважды. Дверь отворилась, и в храм полз морозный пар. Первым вошёл Корнилов — медленно, не снимая шапки. За ним — второй. Невысокий, сухощавый, в дублёнке и пыжиковой шапке, с плоским фанерным ящиком под мышкой. Он закрыл за собой дверь, поставил ящик на пол и включил фонарик. Круг света пробежал по иконостасу и остановился на Казанской.

— Вот она, — сказал человек в дублёнке почти нежно. — Семнадцатый век, ярославская школа. Мне про неё в лагере один московский искусствовед рассказал, он её в семидесятых описывал. Вот так и узнал, где ты, бас, обретаешься. Сидел я, как видишь, с интересными людьми. Ну, давай. Винты ты ослабил?

Корнилов не двинулся.

— Я их вчера насмерть затянул, Глеб, — сказал он. Бас его в пустом храме звучал тихо и глухо. — И ещё по два новых ввернул, со срезанными шлицами. Их теперь только вместе с доской. Я тебя сюда привёл не за иконой. Я тебя привёл поговорить. В машине ты слушать не стал. А здесь — послушаешь.

В круге света лицо человека в дублёнке на миг стало старым и очень усталым.

— Двадцать три года ты говорить не хотел, бас, — сказал он. — Семь лет я за тебя лес валил под Ивделем. Ни одного письма. Ни одной посылки. Я вышел — а тебя нет. Уехал с Тонечкой своей. И вот я стою в церкви, куда ты ходишь петь, чтобы тебе грехи простили. Мои грехи. Иконы в шестьдесят втором ты взял, бас. Ты. У тебя был ключ от склада, ты там декорации к опере чинил. А Тонька твоя была на седьмом месяце. А меня никто не ждал. Вот я и взял. На себя.

В кладовой Рядом со мной Лыткин перестал дышать.

— Ребёнок не родился, Глеб, — сказал Корнилов. — Тоня его потеряла. В тот самый день, когда меня забрали. Больше детей у нас не было. Я тебе не писал — потому что не знал, что написать. «Спасибо, что сидишь за меня»? Я петь бросил. Я десять лет рот открыть не мог. А потом пришёл сюда. И стал за тебя петь. Каждую субботу и каждое воскресенье пятнадцать лет. За тебя, за его, за Тоню. Не за себя. За себя не могу. Икону я тебе не отдам. Забери меня. Поедем в милицию, вместе, сейчас. Я всё расскажу. Пусть судят. Пусть тебе хоть бумага будет, что ты чист.

Человек в дублёнке долго молчал. Потом тихо, страшно засмеялся.

— Бумага, — сказал он. — Мне пятьдесят пять лет, бас. У меня в Москве человек ждёт, который за эту доску даёт мне пятьдесят тысяч. Пятьдесят. Это мои семь лет, бас. За каждый год — семь тысяч. Дёшево продаю. Отойди.

И в руке его, в круге света, блеснуло узкое лезвие.

Корнилов не отошёл. Он сделал шаг назад — но не в сторону, а к иконе, и встал перед киотом, заслонив его спиной, большой, неуклюжий, с пустыми руками.

И тогда Шерстнёв толкнул дверь кладовой.

Всё произошло за какие-нибудь пять секунд. Лыткин крикнул «Милиция!», и голос его ударил в своды, как в колокол. Вершинин обернулся, и на ту секунду, пока он оборачивался, Корнилов схватил его за запястье с ножом своей столярной лапой. Фонарик упал и покатился по полу, и в его скачущем свете я видел, как две тёмные фигуры качнулись и рухнули на пол перед иконостасом. Зазвенел опрокинутый подсвечник. Кто-то хрипло вскрикнул.

Когда мы добежали, Вершинин уже вырвался. Он был сух и ловок, как люди, прошедшие лагерную школу. Он оттолкнул Лыткина плечом, проскочил под рукой у Шерстнёва и вылетел в дверь, которую сам же не запер. И вслед ему, из темноты храма, вдруг раздался такой громовой бас, что у меня заложило уши:

— Дудкин! К воротам!

Корнилов сидел на полу перед Казанской, зажимая левой рукой правую ладонь. Сквозь пальцы чёрным в красном свете лампады сочилась кровь. Он схватился за лезвие. Батюшка просил, чтобы в храме не пролилась кровь, — мелькнуло у меня в голове, и тут же пропало: я был врачом, а передо мной был раненый.

— Руку, — сказал я, опускаясь рядом с ним. — Дайте руку и не дёргайтесь.

Он послушно разжал пальцы. Порез был глубокий, но сухожилия, кажется, целы. Я перетянул ему запястье своим ремнём, и только тогда услышал, что снаружи, с кладбища, доносится топот, крики и чей-то тонкий, отчаянный свист — Дудкин свистел в свой милицейский свисток. А потом взревел мотор.

Корнилов поднял на меня глаза. И спросил тихо, как спрашивают о самом главном:

— Тоня знает?

V. Долг

Отвечать мне не пришлось. За моей спиной, у раскрытой двери, стояла Антонина Корнилова — в пальто, накинутом поверх ночной рубашки, с непокрытой головой. Как она попала на кладбище в половине второго ночи, мы узнали потом: не уснула, не выдержала, пошла пешком через весь город и полчаса простояла за оградой, не смея войти. Она слышала всё. Это было видно по её лицу.

Она опустилась на колени рядом с мужем, прямо в лужицу пролитого воска, и взяла его здоровую руку в свои.

— Я знала, — сказала она. — С шестьдесят второго года знала. Ты во сне разговаривал. С Глебом. Двадцать три года разговаривал.

Корнилов закрыл глаза. Я затянул ремень потуже и отвернулся. Есть вещи, при которых врачу не обязательно присутствовать, даже если он держит пациента за руку.

Снаружи тем временем всё уже кончилось. Ещё днём Шерстнёв велел Дудкину, как только «Волга» въедет в ворота, положить поперёк них железную полосу от старой коновязи — тихо, без звона. Вершинин, выскочив из храма, этого не знал. Он прыгнул в машину, развернулся на аллее и на полном ходу ударил в ворота. Полоса выдержала. «Волга» встала поперёк, уткнувшись разбитой фарой в сугроб, а сам он выбрался через правую дверцу и побежал по кладбищу — между крестами и оградками, по целине, в сторону железной дороги.

Он был лёгок и ловок, но ему было пятьдесят пять лет, и семь из них он провёл на лесоповале. Дудкин догнал его у самой дальней ограды, где начинаются безымянные холмики. Вершинин не сопротивлялся. Он стоял, держась за чугунный крест, и тяжело, со свистом дышал, а когда сержант взял его за локоть, сказал только:

— Не тяни, служивый. Не убегу. Набегался.

Когда Лыткин привёл его к храму, Корнилов уже стоял на ногах, а жена держала его под руку. Двое старых певчих посмотрели друг на друга через снег, через свет фонаря, через двадцать три года. Никто из них ничего не сказал. Потом Вершинина усадили в подъехавший «уазик», и Корнилов долго смотрел ему вслед, пока огни не скрылись за поворотом на Чапаева.

* * *

Утром, за чаем у Клавдии Степановны, я спросил Шерстнёва о том, что не давало мне покоя всю дорогу домой.

— Когда вы поняли? Что икона нужна Корнилову не для того, чтобы её отдать?

Он отставил стакан.

— Вчера на всенощной, доктор. Вы видели, как он после службы проверял винты на киоте. Человек, который собирается отдать вору икону, ослабляет крепление. Корнилов, наоборот, затянул его так, что без отвёртки и полчаса возни не обойтись. Значит, он шёл на эту встречу не отдавать, а отказывать. И, судя по тому, как он пел, не рассчитывал вернуться. А вот что именно он задолжал Вершинину — этого я до ночи не знал. Я подозревал, что дело в шестьдесят втором годе, но думал, что Корнилов выдал его. Правда оказалась хуже. И проще.

— А записка? «Платежом красен»?

— Долг платежом красен. Вершинин считал, что ему должны семь лет жизни, и решил получить их иконой. Корнилов считал, что должен гораздо больше, и решил заплатить собой. Оба ошиблись в арифметике. Такие долги, доктор, ни иконами, ни жизнью не возвращают. Их можно только признать.

Он оказался прав и в этом. В тот же день Корнилов пришёл в отдел к Лыткину с рукой на перевязи и написал явку с повинной о краже в Куйбышеве в 1962 году. Лыткин принял её и честно предупредил, что сроки давности давно истекли и что суда по этому делу не будет. Корнилов кивнул и попросил подшить бумагу к делу Вершинина: «Пусть хоть где-нибудь будет

написано». Пересмотреть старый приговор, как мне потом объяснили, дело долгое и почти безнадёжное. Но бумага была написана, и Вершинину её показали.

Сам Вершинин отвечал теперь за покушение на кражу и за нож. По его показаниям московский покупатель, «Вадим Альбертович», оказался вполне реальным человеком, и через месяц Лыткин с плохо скрытым удовольствием сообщил нам, что в Москве по этой ниточке вытянули целый клубок: восемь икон из разных областей, подготовленных к вывозу за границу. Майор Соколов, узнав, что у нас опять была история без его ведомства, только махнул рукой.

— Вершинин не просил о свидании? — спросил я однажды.

— Корнилов просил, — ответил Лыткин. — Тот отказался. Но, говорят, взял передачу. Махорку и шерстяные носки. Тоня вязала.

* * *

В воскресенье, семнадцатого февраля, в кладбищенской церкви служили литургию. Мы с Шерстнёвым стояли у дверей. Отец настоятель уже знал всё и, увидев нас, только перекрестился и кивнул: в храме, как он и просил, крови не пролилось. Почти.

Корнилов стоял на клиросе с перевязанной рукой. Антонина — внизу, у Казанской, на том самом месте, где ночью лежал на полу оброненный фонарик. Хор запел «Отче наш», и я снова услышал этот бас. Он был всё тот же, низкий и глубокий, но что-то в нём переменилось. Накануне Корнилов пел как человек, прощающийся с жизнью. Теперь он пел как человек, которому разрешили жить дальше.

— Он ведь пятнадцать лет пел за Вершинина, — шепнул я Шерстнёву. — За кого он поёт теперь?

Шерстнёв помолчал.

— Думаю, впервые — за себя, доктор, — сказал он. — Это самое трудное.

Мы вышли на мороз. Над кладбищем стояло ясное зимнее небо, и в нём вовсю орали галки, рассевшиеся по старым берёзам. На снегу у ворот ещё темнели следы протектора и валялись осколки фары. Дудкин, сменившийся с ночного, сидел на скамейке у сторожки рядом с настоящим Афанасием и щёлкал семечки, а старик рассказывал ему что-то длинное, судя по жестам, про войну.

— Вениамин Аркадьевич, — сказал я, когда мы свернули на Ленина, — ведь если бы Вершинин просто попросил прощения, ничего бы этого не было.

— Если бы Корнилов попросил прощения, доктор, — поправил он. — Двадцать три года назад. Одним письмом. — Он поднял воротник. — Самые дорогие долги у нас получаются из несказанных слов. Проценты на них растут быстрее, чем в любой сберкассе.

Рассказ 5. Последний рейс на Палимовку

I. Лампочка, которая не должна гореть

Метель началась в пятницу, двадцать второго февраля, около трёх часов дня, и к вечеру Бузулук исчез. Не стало видно ни водокачки за вокзалом, ни труб маслозавода, ни даже фонаря напротив нашего дома на Чапаева. За окном шевелилась сплошная серая стена, и ветер бросал в стёкла пригоршни снега с таким звуком, будто кто-то сыпал на жесть крупу.

Клавдия Степановна с утра пекла пироги к Двадцать третьему февраля и теперь то и дело выглядывала в окно.

— Галька моя на смене до девяти, — говорила она, ни к кому не обращаясь. — Как она домой-то пойдёт? Заметёт девку.

Шерстнёв сидел у печки с баяном на коленях и, не растягивая мехов, перебирал пальцами кнопки — беззвучно, как перебирают чётки. Я читал «Под знаменем Ленина», где на третьей странице сообщалось, что механизаторы района встречают День Советской Армии трудовыми успехами. Часы на стене показывали половину десятого.

В дверь не постучали — её рванули. На пороге стояла Галя, белая с головы до ног, с сосульками на ресницах и с выбившейся из-под платка прядью, которая тоже успела обледенеть. Она не стала разуваться. Она прошла в комнату прямо в валенках, оставляя на половиках мокрые следы, и Клавдия Степановна даже не ахнула — так странно было у Гали лицо.

— Вениамин Аркадьевич, — сказала она, задыхаясь. — Палимовский автобус пропал.

Шерстнёв положил баян на диван.

— Сядьте, Галя. Снимите варежки, у вас пальцы не гнутся. Вы бежали от узла связи и всю дорогу против ветра, значит, по Ленина, а не дворами, — дворами вас бы так не облепило. Торопились настолько, что не стали ждать, пока вас сменят как положено. Что за автобус?

— Рейсовый, на Палимовку. В шесть двадцать ушёл с автостанции, должен был в восемь быть. До сих пор нет. Из совхоза звонили на автостанцию, с автостанции — в милицию. Все линии через меня шли, я всё слышала. — Она наконец стянула варежки. — А в автобусе кассир совхозная, Зоя Михайловна Кречетова. С зарплатой. За февраль и премия к празднику. Двадцать три тысячи с чем-то.

Клавдия Степановна опустилась на табуретку.

— Может, застряли, — сказал я. — В такую погоду на Палимовской дороге и трактор застрянет.

— Может, — сказала Галя. — Только это не всё. — Она посмотрела на Шерстнёва, и я понял, что главное она приберегла и что бежала она сюда не ради автобуса. — В семь часов пять минут у меня на щите загорелась лампочка третьего отделения.

Шерстнёв подался вперёд.

— Какого отделения?

— Совхоза «Заря». Там при ферме была контора и телефон. Ферму позапрошлой осенью закрыли, скот перевели на центральную усадьбу, людей тоже. А линию так и не сняли. Она у меня на щите крайняя справа. Я на ней два года ни одного вызова не видела. Думала, провода давно оборвало. А сегодня в семь ноль пять — горит. Я соединилась. Мужской голос, хриплый, сказал: «Автостанцию дай». Я дала. И... — она запнулась. — Вообще-то нам слушать не положено. Но я же думала, там кто-то замерзает. Он спросил у диспетчера: «Палимовский ушёл?» Та говорит: «Ушёл, в восемнадцать двадцать, водитель Пантелеев». Он сказал «понял» и положил трубку. Всё.

В комнате стало очень тихо, только метель шуршала в окне.

— Где эта ферма? — спросил Шерстнёв.

— На старой дороге. Новая на Палимовку идёт по насыпи, а старая — в обход, через бывшее отделение. По старой давно никто не ездит, её и не чистят.

— Значит, человек сидит в заброшенной конторе, в метель, у телефона, который все считают мёртвым, — медленно произнёс Шерстнёв, — и интересуется не погодой и не здоровьем, а тем, когда вышел автобус с кассиром. И ему называют время до минуты. — Он встал. — Галя, вы не ошиблись, что прибежали. Доктор, одевайтесь. Тепло. Возьмите вашу сумку.

— Куда вы в такую погоду?! — ахнула Клавдия Степановна.

— К капитану Лыткину. А от него, полагаю, туда, где горела лампочка.

Он натягивал полушубок, и движения у него были быстрые, точные, совсем не такие, как минуту назад у печки.

— Галя, последний вопрос. Этот хриплый голос — местный?

Она подумала.

— Наш. Он сказал «Палимовский ушёл?», а не «автобус на Палимовку». Так только свои говорят.

До отдела мы добирались двадцать минут — путь, который летом занимает пять. На крыльце горела лампа, и в её свете метель казалась не белой, а жёлтой. Лыткин был у себя, в шинели, с телефонной трубкой у уха, и, увидев нас, только махнул рукой на стулья.

— Да... Да, понял. Выезжайте, как сможете. — Он бросил трубку. — Знаю, зачем пришли. От Гали? Ну конечно. Вся связь района через одну девчонку, и у этой девчонки уши, как у пограничника. — Он потёр лицо. — Совхоз выслал навстречу «Кировец», он прошёл по новой дороге до самой трассы. Автобуса нет. Ни в кювете, нигде. Как сквозь землю. На трассе гаишники говорят: никого не задерживали, постов на той развилке сегодня не выставляли — в такую метель и своих-то еле держат.

— Значит, автобус на старой дороге, — сказал Шерстнёв. — У бывшего третьего отделения.

Лыткин уставился на него.

— С чего бы рейсовый полез на старую дорогу? Её два года не чистили.

— С того, что его туда кто-то направил, Пётр Васильевич. И этот кто-то в семь ноль пять звонил из тамошней конторы на автостанцию, чтобы узнать, когда его ждать.

Лыткин молчал секунды три. Потом снял трубку и закрутил диск.

— Дежурка? Лыткин. Где совхозный «Кировец»? Разворачивай его на старую дорогу, к третьему отделению. Да, к ферме. Сам туда еду. И Дудкина мне, живо. И пусть возьмёт оружие.

Через пятнадцать минут мы уже тряслись в кузове милицейского «газика», который полз за грузовиком дорожного участка с отвалом. Фары били в метель и упирались в неё, как в стену. Дудкин сидел напротив меня, хмурый, с автоматом на коленях, и впервые на моей памяти не грыз семечек. Шерстнёв смотрел в чёрное окно, и губы его чуть шевелились — он считал.

— Шесть двадцать — выезд, — сказал он вдруг вслух. — В метель до развилки час, не меньше. Семь ноль пять — звонок из конторы. Значит, тот, кто звонил, сидел у телефона, пока автобус ещё был в пути. И ему ещё предстояло каким-то образом заставить водителя свернуть. Один человек в двух местах сразу не бывает, доктор. Либо их двое, либо у него очень быстрые ноги.

— Или снегоход, — сказал Дудкин хмуро. — У нас в Палимовке у троих «Бураны».

Шерстнёв посмотрел на него с интересом.

— Сержант, вы делаете успехи. Запомните эту мысль. Она нам ещё понадобится.

II. Девять пассажиров и одна сумка

Автобус мы увидели в половине двенадцатого. Вернее, сначала мы увидели огонь — неверный, красноватый отсвет в окне низкого домика слева от дороги. Потом фары выхватили длинную тёмную крышу коровника с провалившейся серединой, а у самого коровника, завалившись на бок в сугроб, — жёлтый ПАЗ с табличкой «Бузулук — Палимовка» за лобовым стеклом. Двери его были раскрыты, и в салон намело снегу по щиколотку.

Люди были в конторе. Девять человек набились в комнату с ободранными обоями и выцветшим плакатом «Доярка, борись за тонну молока!», и топили чугунную буржуйку старыми нарядами из шкафа. Когда мы вошли, пожилая женщина в сером пуховом платке заплакала в голос, а ребёнок у другой, молодой, проснулся и тоже заревел, чтобы не отставать.

Рассказать толком смог только водитель — Семён Пантелеев, грузный седой мужчина с обвисшими усами, который, по его словам, отработал на палимовском маршруте одиннадцать лет и ни разу не опоздал больше чем на час.

— На развилке стоял, — сказал он. — Один. В тулупе, сверху накидка милицейская, на шапке кокарда. Жезлом машет — ну, я встал. Подошёл к окну, фонарём мне в глаза светит. «На трассе, говорит, бензовоз лёг, проезда нет. Уходи по старой, там трактор два часа назад прошёл». И правда — свернул, а там колея. Я и попёр. А что делать? Милиция же.

— Лицо вы его видели? — спросил Лыткин.

— Какое лицо, товарищ капитан. Шарф по самые глаза, фонарь в морду. Голос только. Сиплый такой, будто орёт всю жизнь.

Шерстнёв и я переглянулись.

Дальше было так. До фермы автобус полз почти час. У коровника колея кончилась, и Пантелеев сел на брюхо. Пока он газовал и ругался, из метели к передней двери шагнул человек в чёрной вязаной шапочке, натянутой на лицо, с прорезями для глаз, и с обрезом в руках.

— «Свет туши», — говорит. И стволом мне в ухо. Я потушил. А он в салон: «Кассир, сумку!»

— Сиплым голосом?

Пантелеев задумался.

— Не скажу. Шёпотом он. Шёпот всегда одинаковый.

Кассир Кречетова оказалась той самой женщиной в пуховом платке. Добиться от неё чего-нибудь, кроме «Меня же посадят, меня же посадят…», удалось только Шерстнёву — он сел рядом, взял её за руку и задавал вопросы так спокойно и по-домашнему, будто спрашивал рецепт пирога.

Из её сбивчивых ответов вышло вот что. Обычно за деньгами в городское отделение Госбанка она ездит на совхозном «уазике», всегда с одним и тем же шофёром, Лёшей Буровым. Сегодня утром «уазик» не завёлся. Лёша копался в нём до обеда, потом махнул рукой: поедем, Зоя Михайловна, рейсовым, я с вами, не бойтесь. А люди ждут зарплату к празднику, а председатель сказал — хоть пешком… В автобусе они сидели сзади, на последнем сиденье, у печки, где теплее.

— А сумка была у вас на коленях? — мягко спросил Шерстнёв.

— У меня. Нет. — Она смахнула слёзы. — Когда мы застряли, Лёша её взял. «Дайте, говорит, Зоя Михайловна, мало ли что». Он же мужчина. А потом свет погас, и этот… в шапке… И Лёша его… И тот Лёшу — прикладом… Я сама не видела, темно же, только слышала. Как ударило. А потом мотор затарахтел — и всё.

Лёша Буров сидел в углу, на перевёрнутом ведре, прижав к виску скомканный носовой платок. Это был крепкий парень лет тридцати, скуластый, с быстрыми светлыми глазами. Шапка-ушанка лежала у него на колене. Я присел рядом и отнял платок.

Рана была пустячная — рассечение кожи сантиметра в два с половиной и шишка с голубиное яйцо, как и бывает на виске, где кожа лежит прямо на кости. Зрачки равные, тошноты нет, всё помнит. Я обработал рану, наложил повязку и спросил, как всё было.

— В темноте кинулся на него, — сказал Буров, морщась. — Сумку под сиденье сунул и кинулся. За ствол схватил. А он вырвался и сзади меня прикладом по башке. Ну, я и лёг. Очнулся — сумки нет, его нет, бабы кричат. Выскочил — а там только след от «Бурана», и тот уже заметает.

— Вы были в шапке?

— А как же. Мороз же.

Я кивнул и ничего не сказал. Но, поднимаясь, я задел локтем его ушанку и поднял её с пола — и секунды три, пока отряхивал и отдавал, смотрел внутрь. Потом я подошёл к Шерстнёву, который стоял у стола с чёрным телефонным аппаратом, и сказал вполголоса:

— Вениамин Аркадьевич. Удар не сзади. Спереди-сбоку, в левый висок, почти под прямым углом. Человека, которого бьют прикладом сзади, ранят в затылок или в темя. И ещё. Ушанка у него на вате, вата внутри чистая. Ни капли крови. А рана кровила хорошо, у него весь ворот свитера в пятнах. Либо он успел снять шапку перед тем, как его ударили, либо…

— Либо его ударили с его собственного согласия, — тихо закончил Шерстнёв. — Спасибо, доктор. А теперь посмотрите сюда.

Он поднял со стола шнур телефонной трубки. Он был перерезан — чисто, одним движением острого ножа.

— Пассажиры говорят, что, как только добрались сюда, Буров первым делом кинулся к телефону и закричал, что он мёртвый. Это их и успокоило: телефон в заброшенной конторе и должен быть мёртвым. Никто не стал проверять. — Шерстнёв положил шнур на место. — А он вовсе не мёртвый, доктор. В семь ноль пять по нему ещё звонили. А потом кто-то позаботился, чтобы из этой конторы никто не дозвонился в милицию, пока деньги не уедут подальше. И кто-то знал, что такой звонок возможен.

За окном взревел дизель — подошёл совхозный «Кировец». Люди повскакивали с мест. В суматохе перед посадкой Буров на секунду оказался рядом с Лыткиным.

— Товарищ капитан, автобус-то куда теперь? Я бы при нём остался, пока тянуть будут. Всё же государственная техника.

— В больницу вам, Буров, с вашей головой, — сказал я раньше, чем Лыткин успел ответить. — На рентген. Ночь под наблюдением.

Он взглянул на меня — и в этом взгляде на миг мелькнуло что-то очень непохожее на боль. Потом он снова сморщился и взялся за голову.

— Так и быть, доктор. Вам виднее.

Когда задние огни «Кировца», тащившего на тросе жёлтый пазик, растаяли в метели, Шерстнёв сказал Лыткину:

— Пётр Васильевич, мне нужны две вещи. Список всех, кто работал на этой ферме, пока её не закрыли. И список всех бывших работников ГАИ, которые живут в районе. Уволенных. Лучше — уволенных нехорошо.

— Думаете, настоящий? — Лыткин помрачнел.

— Думаю, что человек, у которого есть жезл, накидка, кокарда и настолько привычка останавливать машины, что опытный шофёр не заподозрил ничего, — этот человек когда-то делал это законно. И сорвал голос не на клиросе.

III. Сиплый

К утру метель выдохлась, и Бузулук проснулся под такими сугробами, что на Чапаева люди выходили из калиток по прокопанным траншеям. Была суббота, двадцать третье февраля. По радио играли марши, и Клавдия Степановна, наливая нам чай, сказала с укором, что пироги печёны для защитников Отечества, а защитники вернулись в пять утра и пирогов не едят.

В девять мы уже сидели у Лыткина. Капитан, не спавший вовсе, был серый лицом и злой, как всегда, когда дело шло хорошо.

— Ферма, — сказал он и бросил на стол листок. — На третьем отделении до закрытия работали двадцать четыре человека. В том числе скотник Буров Алексей Иванович. В восемьдесят третьем, при закрытии, перевёлся в шофёры. Это раз. ГАИ, — второй листок. — Уволенных за пять лет по району трое. Двое на пенсии, старики. И один — Кобзев Виктор Сергеевич, старший сержант, уволен в восемьдесят третьем. Дело про поборы на трассе замяли, тихо убрали из органов. Проживает — в Палимовке.

Дудкин, стоявший у двери, кашлянул.

— Витька Сиплый, — сказал он. — Его так с детства зовут, он ещё пацаном на речке простудился, с тех пор и хрипит. А на трассе доорался до сипения. — Он помолчал. — И Бурову он двоюродный. Их матери — родные сёстры. У Кобзева «Буран», синий. Я вчера про него и подумал. Только не сказал. Думал — мало ли что, свой всё-таки.

Лыткин посмотрел на него тяжёлым взглядом, но ничего не сказал и достал третий листок.

— И ещё. Совхозный механик с утра посмотрел «уазик». Бензонасос в порядке. А в распределителе нет бегунка. Вынут и не поставлен. Крышка на месте, снаружи не видно. Так делает только тот, кто знает машину. — Он сложил листки стопкой. — Ну, и напоследок. Буров в семь утра ушёл из больницы. Сам. Под расписку. Дежурная сестра говорит, сказал — праздник, дома ждут.

Шерстнёв сидел, соединив кончики пальцев, и смотрел на замёрзшее окно.

— Тогда нам надо в Палимовку, Пётр Васильевич. И чем скорее, тем лучше. Боюсь, что мы уже опаздываем.

* * *

Дорогу на Палимовку расчистили к полудню, и «газик» нёсся по ней между двух снежных стен выше крыши. Солнце било в глаза, снег сверкал так, что болели зрачки, и вчерашняя серая стена казалась дурным сном.

Дом Кобзева стоял на краю села, за колодцем. Ворота были распахнуты, и в снегу от них уходил свежий широкий след снегохода — в сторону поля. Нас встретила жена, худая, рано поседевшая женщина с покрасневшими руками. Она не стала ни возмущаться, ни плакать. Она стояла на крыльце, кутаясь в телогрейку, и на лице её была та усталая готовность, с какой люди встречают давно ожидаемую беду.

— Нету его, — сказала она. — Ночью приехал злой как чёрт. В бане заперся, печку топил часа два. Матерился там так, что в избе слышно было. А чуть светать стало, ружьё взял — и на «Буран». Сказал: «К брату съезжу. Поговорить».

— К Бурову? — быстро спросил Лыткин.

— А у него других братьев нет.

Баня стояла в глубине огорода. В ней ещё держалось тепло, и пахло не веником, а гарью — жирной, тканой. Шерстнёв опустился на корточки перед каменкой, открыл дверцу топки и кочергой стал осторожно ворошить пепел. Я держал фонарик.

Из пепла показались сначала грубые обугленные лоскуты брезента. Потом — сплющенная свинцовая пломба на огарке бечёвки. И наконец, у самой задней стенки, где жар был сла-

бее, — плотный комок спёкшейся бумаги. Шерстнёв извлёк его пальцами, как извлекают из тигля редкий препарат, и отложил на полок. Внутри комка уцелел краешек серой газетной полосы. На нём можно было разобрать часть заголовка: «…д знаменем Лени…» — и число: «19 февраля».

Лыткин присел рядом и долго смотрел на краешек.

— Газета, — сказал он наконец.

— Районная, вот этой недели, — кивнул Шерстнёв. — Нарезанная пачками по формату купюр. Видите ровный край? Резали ножом по линейке. Наш сиплый гаишник, Пётр Васильевич, сделал всё в точности как договаривались. Позвонил с фермы, узнал время, перерезал шнур. На «Буране» до развилки — минут пятнадцать. Развернул автобус. Обогнал его по целине, пока тот полз по колее, скинул накидку, натянул шапочку. И забрал сумку, которую ему в темноте сунул двоюродный брат. А ночью, в бане, срезал пломбу — и нашёл в ней свежий номер районной газеты. Двадцать три тысячи купюр из «Под знаменем Ленина».

— Подмена, — выдохнул я.

— Подмена, доктор. Буров заранее приготовил вторую сумку, точно такую же, с такой же пломбой — он возил кассира в банк не один год и насмотрелся. Он взял у Зои Михайловны настоящую. В темноте отдал брату фальшивую. И стал жертвой нападения — с рассечённым виском и чистой совестью. Вся вина ложилась на человека в маске и с обрезом, которого все видели. А когда бы Кобзев пришёл с претензиями — что он мог сделать? Пожаловаться в милицию, что его обсчитали при ограблении?

— А деньги где? — просто спросил Дудкин с порога.

Шерстнёв поднялся и отряхнул колени.

— Вот это, сержант, и есть настоящий вопрос. У Бурова не было ни минуты, чтобы их унести. Все девять пассажиров утверждают, что он был на виду всю ночь. В конторе их нет, мы смотрели. При нём их не было, иначе в больнице его бы стали раздевать и нашли. И всё-таки они были с ним рядом. Помните, доктор, о чём он просил капитана, когда подошёл «Кировец»?

И тут я вспомнил. «Я бы при нём остался… Всё же государственная техника».

— Автобус, — сказал я.

— Автобус, — подтвердил Шерстнёв. — Где он сейчас, Пётр Васильевич?

— На совхозном мехдворе, здесь, в Палимовке, — медленно ответил Лыткин. — До города его ночью тащить не стали. АТП свой тягач в понедельник пришлёт. — Он вдруг резко повернулся к двери. — А след «Бурана», между прочим, уходит не к дому Бурова. Буров живёт на другом конце.

— Значит, Кобзев ищет его там, где тот может прятаться от него, — сказал Шерстнёв. — Но искать по степи снегоход — дело долгое и пустое. Их обоих, Пётр Васильевич, рано или поздно приведёт одно и то же место. Бурову нужно забрать деньги до понедельника, пока автобус не утащили в город и не разобрали. А Кобзеву нужен Буров — и деньги. Сегодня ночью у этого автобуса встретятся двое людей, которые очень хотят увидеть друг друга. И у одного из них обрез. Хорошо бы, чтобы третьими на этой встрече были мы.

IV. Отопитель

Мехдвор совхоза «Заря» занимал целый квартал на краю села: два кирпичных бокса, навес, под которым зимовали комбайны, похожие под снегом на спящих животных, и дощатая сторожка у ворот. Жёлтый ПАЗ стоял под навесом, рядом со смотровой ямой, криво, как его бросил ночью «Кировец», и с лобового стекла ещё свисали налипшие космы снега.

Сторож — старик в очках с перевязанной изолентой дужкой — сказал, что с утра к автобусу никто не подходил. Разве что мальчишки бегали посмотреть, «какой он, ограбленный», но он их шуганул.

В салоне было холоднее, чем снаружи. На полу лежал слежавшийся снег, в нём — чья-то потерянная варежка и раздавленная галета «Мордастое». Шерстнёв прошёл назад, к последнему длинному сиденью, и остановился. Под сиденьем, вдоль борта, тянулся низкий жестяной кожух отопителя, крашенный в тот же грязно-бежевый цвет, что и стены. Он держался на четырёх винтах.

— Доктор, фонарик.

Я посветил. Шлицы всех четырёх винтов заросли старой краской — но краска в них была прорезана, и в прорези сверкал светлый, свежий металл. Вокруг одного из них сорванная отвёрткой краска висела крошечными чешуйками.

— Этот кожух не снимали с завода, — сказал Шерстнёв. — А наднях сняли, причём так, чтобы потом быстро поставить на место. Видите, два винта едва наживую. Затягивали в темноте, нащупь, и очень торопились. Пётр Васильевич, ваш перочинный нож, если не жалко.

Винты поддались сразу. Шерстнёв отвёл жестяной лист на себя, и на нас пахнуло пылью и горелым маслом. За рёбрами радиатора, в узкой щели между трубой и бортом, была втиснута серая брезентовая сумка с бечёвкой и свинцовой пломбой. Лыткин присел, не касаясь сумки, посветил на пломбу и медленно выдохнул.

— Госбанк. Настоящая. Целая.

— Значит, он сунул её сюда в ту самую минуту, когда погас свет, — сказал Шерстнёв. — Винты он отпустил заранее, пока ехали, — сидел спиной ко всему салону, а винты у него под коленями. Отвёл лист, сунул сумку, прижал. Вторую, с газетами, он вез на себе, под ватником, на ремне — сумка плоская, её не видно. И в темноте вытащил её навстречу брату. Две секунды. Для человека, который репетировал, вполне достаточно.

— Забираем, — сказал Лыткин и протянул руку.

Шерстнёв мягко перехватил его запястье.

— И что вы предъявите Бурову, Пётр Васильевич? Что в совхозном автобусе, в котором ехали девять человек, нашлись деньги? Он скажет — грабитель спрятал, спугался, и будет прав не меньше вас. Шапка без крови и вынутый бегунок — это для нас с вами доказательства, а для суда — догадки. А когда человек придёт ночью и сам отвернёт эти четыре винта — тут уже никаких догадок не нужно.

Лыткин посмотрел на сумку, потом на Шерстнёва — и убрал руку.

— Двадцать три тысячи государственных денег — на ночь в приманку, — пробормотал он. — Если что, Вениамин Аркадьевич, я вас первым сдам.

* * *

Сторожа мы отпустили домой, велев нарочно громко жаловаться по дороге, что милиция даже в праздник не даёт людям покоя и что они уже уехали в город. «Газик» Лыткин отогнал за село, в балку. К десяти часам вечера мы заняли свои места.

Дудкин залёг в смотровой яме под соседним грузовиком, откуда была видна задняя дверь автобуса. Лыткин встал за углом бокса. А шерстнёв и я забрались в кабину старого ДТ-75,

стоявшего в десяти шагах от ПАЗа, прямо напротив его передней двери. Стёкла кабины были в инее, и Шерстнёв продышал в инее круглое окошко, как делают дети в трамвае.

Холод был такой, что через час я перестал чувствовать пальцы на ногах, а старая рана в плече напомнила о себе тупой, нудной болью, так же как напоминала когда-то ночами под Баграмом. Из села доносилась гармонь — в клубе гуляли Двадцать третье февраля, и чей-то нетрезвый тенор всё начинал «Вот кто-то с горочки спустился» и всё не мог допеть дальше второй строки. К полуночи гармонь смолкла. Погасли окна. Осталась только луна — полная, тяжёлая, как свинцовая пломба, и под ней — синие снега и чёрные тени комбайнов.

— А если не придёт? — шепнул я около часа.

— Придёт, — так же шёпотом ответил Шерстнёв. — У него нет выбора. В понедельник тягач. Завтра воскресенье, на мехдворе с утра будут люди — скотники за трактором придут, корм подвозить. А сегодня праздник, полсела пьяное, сторож спит дома. Лучше ночи для него не будет.

Он пришёл в час сорок. Сначала над забором с дальней стороны показалась голова в ушанке — и застыла, прислушиваясь. Потом человек перелез и пошёл к автобусу — не по снегу, а по тракторной колее, чтобы не оставлять следов. В лунном свете мелькнула белая полоска бинта над виском. Моя повязка. Я её узнал бы из тысячи.

Буров раскрыл складную дверь руками — привычным движением шофёра — и нырнул внутрь. В заднем окне качнулся слабый жёлтый кружок фонарика и опустился вниз, к полу. До нас донёсся тонкий скрип винта.

Шерстнёв положил мне руку на плечо: ждите.

И тут я увидел то, чего не видел Буров. Из-за комбайна в дальнем углу навеса без единого звука отделилась вторая тень. Высокая, сутулая, в длинном тулупе. Она стояла там, видимо, давно — дольше нас. В руках у неё была короткая тёмная палка, и на конце этой палки луна на миг зажгла две короткие стальные искры.

Тень дошла до передней двери пазика в ту секунду, когда внутри с жестяным стуком отвалился кожух. И в морозной тишине, над спящим селом, раздался сиплый, сорванный на трассе голос:

— Здорово, братишка. С праздником тебя.

V. Два брата и одна сумка

Кружок фонарика в автобусе замер. Потом медленно пополз вверх и перед — и упёрся в фигуру в дверном проёме. В жёлтом свете я увидел узкое смуглое лицо с синими от мороза скулами и два ствола, смотрящие вдоль прохода.

— Витька… — сказал Буров, и голос у него был не его. — Витька, ты чего. Я же к тебе собирался. Вот прямо сейчас. Там в сумке путаница вышла, в темноте перепутал…

— Перепутал, — повторил Кобзев. У него был такой голос, что казалось, слова продираются наружу сквозь наждачную бумагу. — А я всю ночь в бане сидел, братишка, газетку читал. Районную. Про механизаторов, про трудовые успехи. Интересно пишут. — Он поднялся на подножку. — Я за тебя день на морозе. Я по целине в метель, чтоб твой автобус обойти. Я тебе сам шишку поставил, аккуратненько, как ты просил, чтоб по-настоящему было. А ты мне — газетку.

— Ты бы всё равно пропил! — вдруг выкрикнул Буров, и в этом крике была такая давняя, такая насидевшаяся ненависть, что я вздрогнул. — Ты всё пропиваешь! Из ГАИ выгнали — пропил. Мать свою пропил. И это бы за месяц пропил, а на третий день бы по пьяни всё и рассказал! А мне жить надо! Меня в Тольятти на ВАЗ берут, там кооператив — взнос нужен! Я всю жизнь в навозе простоял!

— Ну вот и постоишь ещё, — сказал Кобзев почти ласково. — Сумку на пол. И вылезай. Поговорим на улице. Нечего тут пачкать. Всё же государственная техника.

Я почувствовал, как Шерстнёв рядом со мной нащупал ручку двери. Прежде чем я успел его удержать, он спрыгнул с гусеницы в снег и пошёл к автобусу прямо по лунной дорожке, не прячась, заложив руки за спину, словно вышел на вечернюю прогулку.

— Виктор Сергеевич, — сказал он спокойно и громко.

Кобзев развернулся рывком, и два ствола уставились Шерстнёву в грудь. До них было шагов семь. Я видел в своей жизни много стволов, но ни разу сердце у меня не обрывалось так, как в ту секунду.

— У вас два патрона, — продолжал Шерстнёв тем же ровным тоном, с каким когда-то объяснял девятиклассникам валентность. — А нас здесь четверо, и двое вооружены. Сейчас вы человек, которого обманул двоюродный брат. Вас даже можно пожалеть. Выстрелите — и станете тем, кого не пожалеет никто. Даже жена, которая сегодня утром ждала нас на крыльце и не плакала.

Стволы дрогнули. И в эту самую секунду Буров, про которого все забыли, прижал сумку к груди, рванул ручку задней двери и вывалился в снег.

Надо было знать мехдвор так, как знал его он, чтобы броситься вдоль борта к грузовику и нырнуть под него, в смотровую яму, которая выводила за бокс. И надо было не знать, что в этой яме вот уже четыре часа лежит сержант Дудкин.

Кобзев услышал топот и крутнулся на звук. Выстрел ударил по ушам, как пощёчина. Заднее стекло автобуса лопнуло и осыпалось блестящим дождём. А второго выстрела не было — из-за угла бокса вылетел Лыткин, схватил обрез за стволы и рванул вверх. Второй заряд ушёл в крышу навеса, и на нас обрушился снег с трухлявыми щепками. Я добежал в ту секунду, когда они оба рухнули в сугроб, и навалился на ноги Кобзева — левым плечом, тем самым. От боли у меня потемнело в глазах, но ноги я не отпустил.

Из смотровой ямы доносилась возня, пыхтение и невозмутимый голос Дудкина:

— Лежи, Лёха. Лежи, говорю. Праздник же.

Через минуту всё было кончено. Кобзев сидел в снегу с руками, скованными за спиной, и тяжело дышал. Дудкин вывел из ямы Бурова — тот сильно хромал, сорвавшись с края в

темноте, — и поставил рядом. Повязка сползла ему на глаз. Сумка с пломбой лежала на снегу между ними, и ни один на неё не смотрел.

Шерстнёв нагнулся, поднял её, отряхнул снег и отдал Лыткину. Капитан взял её обеими руками, как берут ребёнка.

И тут Кобзев засмеялся — хрипло, надсадно, закашливаясь.

— Ну что, братишка, — сказал он, не поворачивая головы. — Хотел не пополам? Теперь пополам. По справедливости. Поровну нам дадут.

Буров ничего не ответил. Он стоял, втянув голову в плечи, и смотрел на разбитое заднее стекло своего автобуса, из которого торчали стеклянные зубья и синела луна.

Потом, уже в кузове «газика», из него вырвалось всё, что мы и так знали: про бегунок, про вторую сумку, которую он выпросил у знакомой кассирши в соседнем совхозе «на инструмент», про пломбир самодельный, который он выточил в совхозной мастерской. И одно только мы услышали впервые.

— Линию на ферму я сам придумал, — сказал он глухо. — Я там скотником два года… Знал, что провод целый, забыли про него. Думал, все забыли. — Он поднял глаза. — Кто ж знал, что на узле кто-то на него смотрит.

VI. Крайняя справа

Пироги Клавдии Степановны дождались своих защитников только в воскресенье вечером. Праздник мы отмечали с опозданием на сутки, зато впятером: хозяйка, Галя, Шерстнёв, я — с левой рукой на перевязи, которую я наложил себе сам, одной рукой и с некоторым трудом, — и Лыткин, который зашёл «на минуту» и просидел до полуночи.

Он принёс с собой коробку «Птичьего молока», достать которую в Бузулуке в воскресенье было, по моим представлениям, делом потруднее любого расследования, и вручил её Гале, неловко и сурово, как вручают повестку.

— Это от отдела, — сказал он. — А в понедельник начальник письмо напишет вашему начальству на узел связи. Благодарное. — Он помолчал и добавил строже: — Про то, что вы слушали разговор, там написано не будет. Там будет написано «проявила бдительность».

Галя покраснела до ушей. Клавдия Степановна гордо оглядела стол, словно бдительность семейная и передаётся с пирогами.

Деньги в совхоз привезли в тот же день, в воскресенье, на милицейской машине, и Зоя Михайловна Кречетова, пересчитав их дважды в присутствии председателя и двух понятых, села на стул и расплакалась во второй раз за сутки — но уже совсем иначе. В понедельник в Палимовке выдавали зарплату. А Семён Пантелеев со вторника снова вышел на маршрут — на другом автобусе, свой стоял в АТП с фанерой вместо заднего стекла. Говорили, что на развилке он теперь не останавливается ни перед кем, и даже настоящему инспектору ГАИ едва удалось его там тормознуть.

— Вениамин Аркадьевич, — спросил Лыткин, когда мы перешли к чаю, — а вы ведь Бурова ещё на ферме заподозрили. До шапки. С чего?

Шерстнёв помешал чай и положил ложечку на блюдце.

— С телефона, Пётр Васильевич. О том, что линия на ферму жива, не знала даже девушка, у которой эта линия на щите. Значит, знал кто-то, кто сам когда-то с этой фермы звонил. А из всех, кто был в автобусе, только один первым делом бросился к этому телефону — и тут же всем объявил, что он мёртвый. Человек, который не знает, что телефон работает, не бежит к нему первым. А человек, который знает, что телефон работает, и всё-таки не звонит в милицию, — такой человек не хочет, чтобы милиция спешила. Шапка, в которую заглянул доктор, только подтвердила то, что я уже подозревал. А вот что братья обманули друг друга раньше, чем успели обмануть нас, — этого я не знал до бани.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.